

Дария Беляева

Где же ты, Орфей?

В далеком будущем человечество поработили твари из космоса, которые питаются жизнью на Земле. Мир разделен на Свалку — умирающую цивилизацию, и Зоосад — искусственно созданный питомник для поддержания жизни особенно ценных для колонизаторов людей.

Где же ты, Орфей?

Глава 1

Однажды, когда мы были маленькими, и это еще ничего-ничего для нас не значило, Орфей сказал, что никогда меня не оставит. И он сдержал свое обещание, до последней буквы сдержал.

Я и сейчас могла его видеть — два часа в день или даже больше. Я учила текст почти наизусть, чтобы больше смотреть на Орфея. Раньше я делала это украдкой, потом поняла, что ему все равно, и тогда я глядела на него с жадностью. Я думала: не бойся, братик, я знаю, что ты еще жив, а ты знаешь, что однажды я тебя найду.

Ты же всегда меня находил.

Сто Одиннадцатый не улыбался, но он проводил языком Орфея по губам Орфея и, возможно, это значило, что ему нравится то, что я говорю. Нет, почти точно, ведь я очень хорошо его изучила.

— И тогда мы, Орфей, пойдем смотреть на море, синее море, оно будет словно сапфир, словно бесконечное множество сапфиров, которые высыпали, чтобы все вокруг сияло и стало синим. Ты полюбишь его снова, Орфей, как любил прежде. Крики чаек будут входить в твое сердце, и ты вспомнишь, что родился у моря, и что это родные тебе голоса. Ты возьмешь палку и будешь выводить на золотом от солнца песке свои бесконечные формулы и примеры, и весь пляж покроется вопросами и ответами на них. Это будет так красиво, Орфей, и ты будешь смотреть на песок, а я буду говорить тебе, что песок — это крошки солнца. У всего будет соленый, морской запах, и ты вспомнишь того мальчика, которым был когда-то, и того мужчину, которым ты успел стать. А затем будет еще много-много дней и ночей, они сложатся в недели, месяцы и года, и я буду рассказывать тебе про все, что ты любил и помнил. Орфей, братик, я помогу тебе снова научиться смотреть на небо. Ты будешь помнить, что ты гениальный и математик, что ты любишь апельсиновый сок и смотреть на часы, что тебе было двадцать пять, когда тебя не стало, и тебе будет тридцать, когда ты будешь вновь.

Я всегда меняла года, и я боялась, что мне придется делать это слишком долго. Вот ему уже тридцать, а мне — скоро двадцать семь. Время идет, оно мой самый злой, неостановимый враг.

Я перелистнула страницу и закончила:

— А затем я возьму тебя за руку, и мы отправимся домой, потому что у нас будет дом.

Глаза Орфея смотрели на меня. Сто Одиннадцатый даже не пытался казаться человеком. Он сидел в кресле, руки его повисли, как плети, голова была склонена набок. Нет-нет, не его руки, не его голова. Сто Одиннадцатый использовал тело моего брата, когда приходил слушать меня. Может, это казалось ему смешным, но я не слышала, чтобы он смеялся. Может, это казалось ему удобным.

Белки его глаз переливались, как жемчуг на моей шее.

Сто Одиннадцатый открыл рот, но не сразу стал говорить. Наконец, я услышала:

— Эвридика, это хорошо.

Он выделил слово "это", словно бы в нем и заключался весь смысл, а мое имя и его оценка были лишь шелухой.

— Спасибо, — вежливо сказала я. — Я очень стараюсь.

Правда, я очень-очень старалась, никогда так не старалась, но теперь только об этом и

думала. Эти важные слова и пустые словечки сохраняли мне жизнь, а значит, они хранили где-то там, далеко, и моего брата. Я должна была писать очень красиво, если мне хотелось жить.

У взгляда моего брата не было смысла, пустые, оставленные глаза.

— Слова музыкальны. У этого есть...

Он надолго замолчал, а затем сказал медленно, споткнувшись о букву "т":

— Ритм.

— У всего есть ритм, мой господин, — ответила я. — У всего на свете.

— Говоришь ритмичнее остальных. Это нравится.

Когда мы с братом были маленькие и жили у Нетронутого Моря, нам говорили, что если мы понравимся хозяевам, наша жизнь станет счастливой. Наверное, я как-то по-другому представляла себе счастливую жизнь, хотя, если бы Орфей по-настоящему был со мной, здесь было бы вполне хорошо. Оставалось бы только скучать по Нетронутому Морю. Но я не привыкла считать, что люди лгут. Думаю, наши учителя хотели бы, чтобы мы были счастливы, потому что мы были маленькие, симпатичные дети.

Я всегда хорошо писала, но прозу, а не стихи, и все говорили, что у меня мало шансов. Мне просто повезло, что однажды к нам приехал Сто Одиннадцатый, и что ему нравился человеческий язык. Он был особенным. Немногие из них говорили на нашем языке так хорошо. Они приходили к нам, но только некоторые из них принимали человеческий облик. Им отчего-то страшно тяжело дается ходьба. Я не знала, каких мы боялись больше. Те, что выглядели как люди, передвигались странно, припадая с одной ноги на другую, едва контролируя человеческие тела. Я всегда думала, что они носят людей, как перчатки, поэтому и выходит так неловко, пальчиковые куклы обычно не отличаются изяществом движений.

Про тех, кто пришел в человеческих телах, мы сразу знали вот что: они поглотили кого-то, и он все еще жив, там, внутри них, и дает им облик, когда он нужен. Это было плохое знание, никому оно не нравилось. Но про других мы не знали ничего вовсе, только видели иногда огромные синие тени в полдень.

Они были невидимы. Вернее, они были невидимы практически для всех. Наверное, поэтому мы проиграли четыре тысячи лет назад, когда они пришли сюда.

Тогда у нас были страны, разные языки, споры о том, чей образ жизни правильнее и лучше, деньги, мировые проблемы, большие танки, высокоточные ракеты и ядерное оружие.

Когда они пришли к нам, у них даже не было имен.

Все началось с огромного клапана в центре Земли (где-то в бывшей Африке). Он открылся и пульсировал, и ученые делали предположения, не зная, что они уже здесь. Было много новостей об этом клапане. Он был похож на то, что остается от бычьего сердца, если разрезать его надвое. Только был очень, очень большой. Они приходили к нам через него, с обратной стороны земли, из бескрайнего космоса. Когда мы поняли (мы, то есть люди), что произошло, для всех решений уже стало слишком поздно. И хотя их в то время было даже меньше, чем сейчас, около сотни, мы не видели их, наше оружие не могло их убить, а они превращали существ в открытую плоть, из которой они состояли.

На самом деле Сто Одиннадцатый (он пришел сюда из Космоса, а не появился здесь), говорил, что мы сражались достойнее и дольше многих других рас. Сто Одиннадцатый, надо думать, любит нас, по крайней мере, увлекается нами.

У него, как и почти у всех них, никогда не было никакой злости к человечеству. Мы

интересовали его не больше, чем нас интересовали муравьи, когда мы возводили свои дома. Они пришли на нашу Землю (и мы стали целой планетой индейцев, и поняли, наконец, страдания настоящих индейцев), и сломили наше сопротивление.

То было четыре тысячи лет назад. Сто Одиннадцатый говорил, что они не способны к существованию, иному, чем бесконечная колонизация. Он видел лишь одну, предыдущую планету, но великое множество ему подобных было в бесконечном, полном звезд и темноты космосе. Они искали (Сто Одиннадцатый говорил: чувствовали) жизнь, ее биение в непомерно огромном космосе, и двигались к ней. Сто Одиннадцатый говорил, что наша планета погибнет примерно через сорок пять-пятьдесят тысяч лет, и они уйдут отсюда, чтобы снова искать. В анабиозе они могут существовать довольно долго, все они замирают, замерзают, и только их странное чувство жизни, автопилот, ведет их к планете, которую они снова смогут опустошить.

Я многого о них не знала, хотя Сто Одиннадцатый часто говорил со мной. К примеру, они были невидимы только на земле, потому что наши глаза не распознавали их цветов и текстур, или другие живые существа на других планетах тоже не могут их увидеть? Сколько у них колоний, сколько Галактик они сделали полностью безжизненными пустынями звезд?

Говорят, раньше люди представляли летающие тарелки и технологии, и инопланетян с лазерами и ускорителями частиц, но у них не было никакой особой науки, и они заставили нас возводить собственный Зоосад. Они пришли к нам дикие, безжалостные и безымянные.

Сто Одиннадцатый как-то говорил, что изначально нас, как высокоразвитую цивилизацию, хотели уничтожить полностью, чтобы мы не доставляли проблем. Это бы им, без сомнения, легко удалось. В первые двадцать дней вторжения погибло две трети человечества.

Двадцать дней. Две трети. Я и цифр таких представить не могла, не то, что людей, у каждого из которых было имя.

А потом, по случайности, кто-то из них увидел наши картины. Все началось с живописи. Кто-то из тех, кто заходил в здания, чтобы очистить их от людей, мешающих высасывать соки из планеты Земля, увидел "Рождение Венеры" Боттичелли, а, может быть, "Гернику" Пикассо, или даже картину какого-нибудь заштатного художника, единственной гордости своего маленького городишки.

Их поразило то, что мы можем воспроизводить себя и жизнь. Сто Одиннадцатый говорил:

— Жизнь — всегда экспансия.

Он видел в нашем искусстве способность распространять себя на неживые вещи. Звучать в пространстве, оставаться во времени, утверждаться красками и камнем. Мне всегда казалось, что дальнейшее должно было выглядеть как минимум забавно.

Они искали людей, показывали им картины и пытались узнать, могут ли все люди сотворять подобное.

Затем они слышали музыку. Говорят, сцена вышла удивительной, был полдень, единственный момент, когда мы могли заметить их присутствие. Кто-то в центре старого города Парижа заиграл на фортепиано (а может, поставил запись на полную громкость), и люди смотрели на колыхающиеся на площади непокорным морем синие тени.

Меньше всех среди них было поклонников слова, поэтому писатели и поэты вроде меня редко становились их питомцами. И все же мои книги, мои "Письма к Орфею" расходились по миру, чтецы и актеры воспроизводили их своим господам снова, и снова, и снова.

Мне нравилось, что мои тексты жили.

Мне нравилось, что люди по всему миру произносили имя Орфея. Я знала, что этому обрадуется и он, когда я найду его.

Кто-то когда-то сказал, что искусство спасает, но это было произнесено слишком давно, чтобы быть правдой. Все стало именно так четыре тысячи лет назад.

Наша способность создавать что-то прекрасное сделала нас соблазнительными диковинками для расы идеальных разрушителей, никогда не творивших. Теперь, в черноте космоса, мы были маячком для многих из них, они стремились погостить у нас и увидеть нечто прекрасное.

Они с восторгом изучали нашу историю и культуру, так что многие из них теперь знали о людях больше, чем мы сами. Никто из них не умел творить. Настолько, что у них даже не было имен — только цифры. Порядковые номера, под которыми они родились у Королевы Колонии. И я была рада, что у нас нашлось что-то, что мы смогли им предложить. Мне не хотелось бы, чтобы множество прекрасных людей умерло, а еще большее количество — никогда не существовало.

Мне не хотелось бы, чтобы нас с Орфеем никогда не было на свете.

Я вдруг спросила Сто Одиннадцатого:

— А как вы называетесь все вместе? На вашем языке?

Мы не давали им имя. Говорили просто "они" или "хозяева", потому что самое страшное наказание для того, кто познал память — забвение.

Сто Одиннадцатый снова провел языком Орфея по зубам Орфея.

— Никогда не было причин называться.

Я смотрела на Орфея. Я не знала, как Сто одиннадцатый сохраняет его тело нетронутым. На нем не было ни царапины, и время шло для него своим чередом. Он был погружен в страшный сон, но я не знала, бодрствует ли Орфей в другое время, когда я не вижу его.

Сто Одиннадцатый сохранял его аккуратно. Многие ломали людям, поглощенным ими, кости или разрывали чувствительные тонкие ткани. Но Орфей был в порядке, и я видела, что он дышит, и я могла бы услышать, что его сердце бьется.

Сто Одиннадцатый использовал его как сосуд, ничего не зная о том, что Орфей любил, помнил и желал. А для меня эти черты были давно знакомы.

Мы были совсем маленькими, когда родители отдали нас в приют у Нетронутого Моря, где люди воспитывали будущих художников, музыкантов и поэтов. Родители скопили столько денег, чтобы мы не жили на Свалке, в умирающем мире, чтобы у нас был шанс попасть наверх.

У Нетронутого Моря можно было ходить по земле без риска ослабнуть или умереть, там было живое, синее море, не вспухшее от трупов рыб. Та земля не умирала, они оставили ее нетронутой, потому что кто-то сказал им, что людям нужно видеть красоту, чтобы вдохновляться.

Они на многое были готовы ради того, чтобы увидеть, что мы сотворим для них.

Иногда (особенно часто такое случалось до того, как Сто Одиннадцатый забрал моего Орфея) мне становилось жаль их. Они, наверное, не могли видеть красоту нашего мира, и всех других миров. Им, словно детенышам животных, требовалась хорошо пережеванная, мягкая, переработанная красота.

Это было очень печально, ведь значило, что, в конце концов, они не могут видеть

столько чудесных вещей.

У Нетронутого Моря было хорошо. Орфей любил математику и посредственно играл на фортепиано, так что в восемнадцать лет ему предстояло вернуться на Свалку. Я, конечно, не могла этого допустить, хотя, как выяснилось спустя много лет, там он мог бы быть в большей безопасности.

Они предпочитали выбирать себе юных питомцев, чтобы наблюдать за тем, как растут люди (в творческом смысле, физиологический рост их не слишком волновал, они говорили "большие люди" о тех, кто был по их мнению талантлив, и "маленькие люди" о тех, кто не умел рисовать, создавать музыку, писать или играть). Мне было десять, когда к нам пришел Сто Одиннадцатый. Я и сейчас очень хорошо помнила, как мы впервые разговаривали.

Был солнечный день, у солнца был цвет апельсина, а учительница открыла окно, чтобы ветер с моря врвался в класс, и он трепал мне волосы. За окном трепетали персиковые деревья.

Я не знала, где он, полдень еще не наступил, хотя солнце горело на небе с огромной силой. Но я порадовалась, что он не пришел в облике того, кого поглотил когда-то. Я чувствовала его присутствие. Вот почему учительница открыла окно. Мне не хватало воздуха, словно я не могла вдохнуть до конца, впустить в себя поток кислорода, так нужный мне. И хотя ветер, доносившийся с моря, приносил облегчение, это чувство ни с чем нельзя было спутать.

А сейчас я могла бы, наверное, спутать его с чем угодно, ведь я так привыкла.

— Здравствуй, — сказала я. Он молчал. Я знала, что это он. Лишь Королева Колонии была самкой в нашем понимании, и у каждой Королевы Колонии была всего одна дочь, которая могла породить следующую Колонию верных ей самцов.

Я смотрела в точку на полу, в центре комнаты, потому что решила, будто он там. Затем я увидела, как поднимается мел, и на школьной доске стали появляться белые буквы. Почерк был неясный, резкий, буквы располагались друг к другу слишком близко, их хвостики рвались высоко вверх или падали глубоко вниз, все это было так неправильно. Словно бы кто-то писал не рукой, а зажав мел в зубах. Эта мысль насмешила меня, и в то же время испугала.

Линии букв были неровными, словно бы тот, кто выводил их, — дрожал. А сами буквы были очень, очень большими. Маленькие я бы, пожалуй, не различила вовсе.

"ЗДРАВСТВУЙ, ЭВРИДИКА, РАТ НАШЕЙ ВСТРЕЧЕ".

Мне захотелось зажать рот ладонью, но я так и не поняла, боролась я со смехом или со страхом. Грамматические ошибки, которые он допускал, были забавными, и в то же время их детская непосредственность была страшной. Это ведь писал не ребенок. Существо, которое сумело это написать, никогда не имело речи в нашем понимании.

Не мой язык, но сама речь была для него загадкой.

— Прочитай свое сочинение, Эвридика, — сказала учительница. Она вытащила из пучка темных с проседью волос длинную, золотистую заколку. Учительница всегда делала так, когда волновалась. Я знала, что ей всегда страшно, потому что если мы будем недостаточно хороши, она поплатится за это жизнью.

Я открыла свою тетрадь на нужной странице (сразу! мне так повезло!) и стала читать ему сочинение о моих родителях. Я мало что помнила о них, мы расстались, когда мне не исполнилось и пяти. Я только знала, что они любили нас с Орфеем так сильно.

Когда я закончила, то увидела, что некоторые буквы мокрые от моих слез. Это было

хорошо, если написанное стоило моих слез. Так я определяла, что действительно важно, ценно и красиво. Я старалась, в большей степени, для учительницы, но также и для родителей, которые хотели, чтобы у меня был настоящий, нестрашный дом.

И, конечно, для Орфея, для моего заботливого брата.

На некоторое время воцарилась тишина, она звенела кровью в моих сосудах, далекой песней ветра, дыханием — моим и учительницы. Наконец, я услышала скрежет и хлопанье, с трудом, но складывавшиеся, в слова.

— Хочу такую, — сказал Сто Одиннадцатый. — Будет моей сегодня же.

Я видела, что учительница боится, но все же она сказала:

— У девочки есть брат. Вы не хотели бы послушать его, господин? Он играет на фортепиано.

Она была такой смелой и сильной, и я была очень ей благодарна. А еще я была вдохновлена. Я сказала:

— Господин, мой прекрасный господин, я буду так счастлива творить для вас. Только скажите, нет ли шанса забрать и моего брата? Даже если вам не понравится, как он играет, я не могу ни строчки написать без него!

Я смотрела на доску, ожидая, что голос, не созданный для воспроизведения человеческой речи, снова захлопает, заскрежещет мне в ответ. Но вдруг я услышала хрип учительницы. Я посмотрела на нее и увидела, что глаза ее закатились, они были сплошные белки, рыбы, мертвые брюшки, рот был приоткрыт, и из него вытекала струйка слюны.

Он проник в ее мозг, ему требовалось время, чтобы установить контроль над ее нервной системой. Затем он сказал, используя ее язык, губы и голосовые связки:

— Органы почти не могут речь.

— Воспроизводить, — подсказала я, и тут же испугалась сама себя. Лицо учительницы ничего не выражало. Мне захотелось плакать — никогда еще я не видела, чтобы человек был так рассинхронизирован со словами, которые он произносит.

Но ведь она произносила не свои слова.

— Органы не могут речь воспроизводить.

Я больше не стала его поправлять. Я смотрела на учительницу, кивала, пытаюсь согласиться со всем, чтобы он скорее ее отпустил.

— Эвридика.

Это я знала.

— Поедешь со мной.

Этого я ждала.

— Брат нужен, и тогда тоже заберу.

На это я надеялась.

— Сто Одиннадцатый.

— Очень приятно с вами познакомиться, — быстро сказала я.

— Это смешно, потому что неприятно.

Сто Одиннадцатый говорил с помощью учительницы, но голос казался чужим и каким-то особым, как если бы говорил человек мертвый или бессознательный (хотя уже тогда я знала, что это оксюморон).

Я только кивала, а затем кивала снова, надеясь, что он больше не захочет ничего узнать. Сто Одиннадцатый спросил:

— Что любишь?

Я не знала, как ответить на этот вопрос быстро. Я сказала:

— Я люблю писать, Орфея, моего брата, книги про старые города, платья с воротниками и музыкальные шкатулки.

Учительница втягивала в себя воздух, тяжело и часто. Я подумала — какая красота за окном, розовобокие персики, синее небо и море с волнами, словно коронованными белым кремом, а здесь, передо мной, моя учительница трясется, закатывает глаза, словно у нее случился эпилептический припадок.

Все сочеталось: отвратительное с красивым, мерзкое, вроде струйки ее слюны или белков глаз с лопнувшими сосудами, — с чудесным: погодой за окном, хорошим, мягким летом. Мне было так жалко ее, и я попросила:

— Прошу вас, мне нравится, как вы пишете! Я могла бы поучить вас еще!

Но он ничего не ответил, а затем оставил учительницу. Она уронила голову на стол, и ее трясло, словно она рыдала. Я вскочила из-за парты и подбежала к ней. Он еще не успел уйти из нее, и когда я попыталась поднять ее, то почувствовала нечто очень, очень холодное.

Вечером я получила жемчужное ожерелье, которое с тех пор не снимала. То есть, мы называли его жемчужным, потому что бусинки были неотличимо похожи на жемчуг. Однако, это было нечто изнутри Сто Одиннадцатого. Такое ожерелье было у каждого питомца. Оно с равной вероятностью могло состоять из костей или почечных камней. Но когда я много после спросила у Сто одиннадцатого, он ответил:

— Как это на языке? Подкожный жемчуг. Нет аналогов.

Меня передернуло. В целом, на вид ожерелье не отличалось от жемчужного, на ощупь однако оно всегда было очень теплым и легонько, почти незаметно для глаза, но ощутимо на коже пульсировало. По нему другие узнавали, что я принадлежу Сто Одиннадцатому, а кто-то другой, скажем, Девятнадцатому. Его снимали лишь с питомцев, находящихся в агонии. Считалось, что пока оно на шее, невозможно умереть по-настоящему, так что в последние минуты жизни, чтобы не продлевать агонию, подкожный жемчуг у человека забирали. Если этого не сделать, человек мог агонизировать годами, и это был не предел. В какой-то момент ожерелье все равно приходилось забирать, чтобы отправить человека в последний путь и избавить его от боли.

В те первые дни я ходила, демонстрируя свое ожерелье всем. Оно просто казалось мне красивым. Через пару дней такое же ожерелье получил и мой брат. Не прошло и недели, как мы отправились наверх.

Больше я не видела ни Нетронутого Моря, ни Свалки, все с тех пор стало высоким, почти небесным. И когда я увидела свой новый дом, там обнаружилась почти сотня музыкальных шкатулок. Они были везде — на кровати, на столах, даже в ванной. Их вправду было очень много.

Иногда мы с Орфеем включали их все. Получившаяся вакханалия звуков отдаленно напоминала собственный голос Сто Одиннадцатого. Орфей говорил, что было бы гораздо лучше, если бы Сто Одиннадцатый нашел себе голос приятнее.

И вот, много лет спустя, когда я отложила тетрадь на край стола, Сто Одиннадцатый заговорил со мной голосом Орфея.

— Отдам это. Перепечатают.

Я кивнула. Я не знала, смотрит ли Сто одиннадцатый на меня глазами Орфея. Это могло быть и так. В то же время он мог вовсе не видеть меня, как я вижу других людей.

Я смотрела на черты Орфея, стараясь запомнить их заново. Я сверяла его с тридцатью

Орфеями моей жизни — по одному на год. Он был бледным, остроносый мальчишкой, а стал высоким мужчиной с изможденными чертами и длинным, красивым лицом. Бледность его кожи и синева синяков под глазами казались нездоровыми, но он был таким всегда. Орфей провел на Свалке дольше, чем я. Даже волосы его казались совсем блекло-бледными, словно Свалка вытянула из него всю краску. И все же тонкие черты сохранили свою хрупкую красоту, а жизнь у Нетронутого Моря и в Зоосаду позволила ему вырасти сильным, высоким мужчиной.

Люди, жившие на Свалке, обычно были меньше ростом, чем обитатели Зоосада. Хотя это разделение все еще оставалось условным. Я, к примеру, была маленькой по сравнению со многими, живущими внизу. Мы с Орфеем всегда были во всем противоположны. Он был похож на папу, а я на маму, он был светловолосый, а мои волосы были темными, у него глаза серые, а у меня — зеленые. Все в нас было таким различным, что никто не догадывался о том, что мы родственники, пока кто-нибудь из нас об этом не говорил.

А теперь люди часто считают, что я одинокая и маленькая, и подумать не могут, что у меня есть брат, и что он прекрасный и живой, и что я спасу его.

Так я себе сказала, потому что иначе я сошла бы с ума. Хотя многие и так говорят, что я сошла. Но пока я только немножко сошла с ума, совсем недалеко.

Потому что я умела надеяться. Орфею было бы тяжелее на моем месте, потому что он этого не умел. Я писала "Письма к Орфею", чтобы разбудить его, я угождала Сто Одиннадцатому во всем, чтобы он не вытянул из Орфея жизнь, и я искала способы украсть его у Сто Одиннадцатого.

Только пока ни одного не нашла. Но у нас с Орфеем было время. Вот почему мне так важно было смотреть на него каждый вечер. Я хотела видеть его, я хотела, чтобы он подтвердил мне, зачем завтра наступит новый день.

— Эвридика, вернись завтра, и покажешь мне, что еще написала. Нужно, чтобы больше отдыхала. Вид — бледный.

Я хотела поправить его, но, по привычке, не стала.

На прощание я улыбнулась ему так, как будто раскрытые глаза Орфея могли видеть меня.

Я ведь не знала точно, что не могли. Орфей исчез, словно бы растворился, как рисунок, по которому прошлись ластиком. На это я смотреть не могла. Еще некоторое время я слушала тяжелые шаги, а затем встала из-за стола и прошла по комнате.

Я подошла к окну и увидела облака, проплывающие передо мной. Я всегда думала, что они будут, как вата, когда я отправлюсь вверх, но чаще всего облака были похожи на рассеянный вокруг дым. Из-за них было сложно рассмотреть ночи. Когда стоишь на земле и запрокидываешь голову вверх, заглядывая в небо, облака кажутся просто чудо какими хорошенькими. Но здесь, высоко, мне все время хотелось взять пылесос и втянуть их в мешок для пыли, или разогнать шваброй, словом вычистить небо, сделать его ясным и прозрачным, особенно ночью, чтобы каждая звездная искорка была мне видна.

Зоосад располагался очень высоко и был сделан прекрасно. Воздух здесь очищался, безопасную пищу выращивали в сельскохозяйственных комплексах под стеклом и металлом, вода тоже проходила много ступеней очистки прежде, чем ее предлагали нам. О нас заботились, и мы не чувствовали ни голода, ни болезней. Хотя, конечно, лучше сказать, что мы сами о себе заботились. В большинстве своем это были человеческие технологии, адаптированные для жизни в замкнутом пространстве. Они давали нам шанс спасти себя

самостоятельно.

В Зоосад часто приезжали гости, и Сто Одиннадцатый говорил, что ни в одном мире до нашего они не видели ничего подобного. На их языке Зоосад тоже как-то назывался. Значение было похожим. Орфей как-то говорил, когда мы вот так же смотрели на небо в облаках, странно, должно быть, что они пришли сюда, даже не представляя себе, как устроено радио, но нам не помогли ни технологии, ни оружие, и теперь мы сами построили свою тюрьму.

Еще более странно было то, что в тюрьме оказалось лучше, чем на свободе. Зоосад покрывал теперь почти весь мир. Сто Одиннадцатый говорил, что это золотое тысячелетие Зоосада, и площадь его будет сокращаться все сильнее. Однажды воду и воздух нельзя будет очищать, однажды наши технологии не поспеют за тем, как быстро они отравляют и опустошают нашу землю. Я немного завидовала Сто Одиннадцатому, когда он так говорил. В отличие от меня, Сто Одиннадцатый мог мыслить тысячелетиями.

Вот почему люди были для него очень хрупкими существами. Они живут вечно, и настанет день, когда никого из моих самых далеких потомков уже не останется на свете, а Сто Одиннадцатый покинет эту планету вместе со своей Королевой. Он обещал никогда не забывать о нас.

Слабое было утешенье.

Я дотронулась рукой до стекла. Вся внешняя стена состояла из тяжелого стекла, так что нельзя было точно сказать, окно ли это или уже нет. Где-то впереди Зоосад изгибался, и я видела прозрачные, широкие воздушные коридоры. По ним можно было попасть в любую точку мира. Широкие, прозрачные магистрали были словно чистые сосуды. Они и мы, все путешествовали по ним. Орфей говорил, что они, как невидимые вирусные клетки.

Я никогда не отвечала ему, но это была не совсем правда. В конце концов, у нас были идеи, но сам остов Зоосада принадлежал им. Этого не было видно. Если смотреть на Зоосад издали, он казался городом будущего, абсолютно человеческим. Что-то подобное рисовали древние художники, иллюстрируя старые фантастические книги. Высота, прозрачность, стерильная чистота — то, о чем наша цивилизация и мечтала так давно, даже до них.

Но я знала, что если навалиться на стену, она не окажется достаточно твердой. Она продавится. И можно будет почувствовать нечто такое, похожее на биение чьего-то большого сердца.

В конце концов то, что может пережить их правление, должно было состоять из чего-то, принадлежащего им. Когда я спросила у одной моей очень умной знакомой, которая так прекрасно разбиралась в том, как функционирует Зоосад (потому что обеспечивать нам всем жизнь было ее работой), почему стены, полы и потолки могут быть такими упругими, почему только стекло кажется достаточно твердым, а у металла есть некоторая резиновая мягкость, она ответила: это плоть.

Да, так она и ответила, что там, среди металла, есть мягкая плоть, мышцы, вены, и другие ткани. Давным-давно кто-то из проектировавших Зоосад видел их облик. Это всегда было редкостью. Наверное, вместо стекла и металла, и чистеньких, аккуратных небоскребов, он видел нечто другое, ужасное.

Вот как тесно мы сплелись. Наши небоскребы и прекрасные, футуристические (для древних) города оплетены их плотью. Эта плоть, как сказала моя подруга, предотвращает разрушение металла и приводит к нам жизненную силу, заставляющую нас чувствовать себя хорошо.

Потому что есть не только воздух, вода и еда, есть нечто, что мы не видим, и к чему наши ученые не подоברались ни на пядь, но оно так реально, что без него невозможно жить.

Это то, почему одни планеты населены, а другие нет. То, что приманивает тех, у кого никакой науки никогда не было.

Впрочем, теперь и они стремительно менялись. За четыре тысячи лет они переняли у нас кое-что, не только наши тела и любовь к создаемому.

Я посмотрела вниз. За облаками мало что было видно. Я, как и другие питомцы, жила на последнем этаже. Ниже жили те, кто обеспечивал нам жизнь, и хотя без их знаний и умений, мы бы погибли, наши хозяева не считали их равными.

Они понимали только ценность искусства, ценность жизни была для них загадкой, потому что они никогда не умирали. Они не знали, что талант не так важен, как то, что у каждого из погибших были чувства, мечты и способность испытывать боль.

У подножья Зоосада жили инженеры самых скромных квалификаций. Вода, еда и воздух для них были не так хороши, но, в конце концов, приемлемы для жизни. Люди, работавшие прислугой в Зоосаду приходили со Свалки, и они были счастливы, они были радостнее, чем я когда-либо буду в своей жизни, потому что от восьми до двенадцати часов в день они дышали, ели и пили то, что не убивало их.

Мне было до слез жаль этих людей, я впахивала им еду, бутылки с водой, респираторы, но я знала, что этого мало. В отличии от меня, они не могли быть уверены в том, что проснутся завтра. И они ничем не отличались от меня.

Орфей говорил, что пути, по которым мы ходим в жизни, настолько сложны и часто статистически невероятны, что, по сути, никого судить нельзя.

Но я всегда знала, что где-то там, внизу, под облаками, есть мир людей, которым страшно и очень одиноко. И я знала, что могу наблюдать за их страданиями, что могу жить, зная, что они не могут. Я пыталась помочь, но я не могла сделать ничего значимого.

Я часто просила Сто Одиннадцатого впустить в Зоосад кого-нибудь, быть может, горничную или повара, но он говорил, что они и так сохраняют жизнь слишком многим людям.

Я оттолкнулась от окна, так что едва не повалилась на паркет, затем села перед фортепиано и открыла крышку. Моя квартира, ячейка, как они говорили, в Зоосаду прекрасно повторяла интерьеры начала двадцатого века, вырвавшегося из идеологии прогресса модерна, отчасти уже во всем разочарованного, отчасти замороженного миром. В каждой ячейке были свои правила. Как я могла украсить по своему усмотрению аквариум со своими рыбками, так и они обустроивали наше жилище и одевали нас так, как сами хотели. Их интерес к человеческой истории и культуре был детским, даже забавным. Они хотели посмотреть на все, что мы пережили, пока их не было здесь.

Сто Одиннадцатому нравился славный период с начала двадцатого века до Первой Мировой Войны. Думаю, он вообразил что я Вирджиния Вульф, или кто-то вроде, болезненная, нервная писательница с воспаленными от бессонных ночей глазами. Он наряжал меня в длинные платья с закрытыми воротниками, заставлял носить корсеты, от которых болела спина, но у меня были перчатки и шляпки, о которых я мечтала, будучи маленькой девочкой. Все это было обманом, представлением. Просто моя стеклянная ячейка в зоосаду должна была поведать гостям о том, как люди выглядели, и как любили, чтобы выглядело все вокруг в те далекие времена.

Но мне все это нравилось, со временем я и сама научилась казаться себе Вирджинией

Вульф. Орфей сказал, что я трагическая героиня. Он всегда был такой серьезный, что даже смешной. И в своем сюртуке выглядел, как молодой английской лорд или русский дворянин. Нам нравились конные прогулки в похожих на настоящий лес павильонах, и крепко заваренный чай в прекрасных сервизах из тончайшего фарфора, и выпечка, такая свежая и так пахнувшая корицей и сахаром, что кружилась голова.

Это была жизнь зверьков, прекраснейшая стилизация, но я была рада, что Сто Одиннадцатому не были близки, скажем, сороковые года двадцатого века или времена великой чумы.

Я была рада, что они заставляют нас помнить о том, что было, пока история не остановилась. У нас был прекрасный сосед, добрейшей души человек, чей хозяин так любил коммунистический Китай сорок девятого года, что его питомцу приходилось систематически недоедать, но он все равно рисовал помпезные картины со счастливыми крестьянами.

Я же жила в буржуазной роскоши — у меня было пять чудесных комнат со стенами модного, мышьякового цвета, тяжелой мебелью красного дерева, высокими зеркалами в позолоченных рамах, чудесными картинами с красивыми людьми в костюмах и платьях, достойных бала, обитые бархатом диваны и большая библиотека с лесенкой, по которой нужно было подниматься, чтобы брать книги с самого верха.

Шкатулки и часики, и цветочки на фарфоре, граммофон, напоминающий невероятно увеличенную ушную раковину, фигурки в стиле шинуазри из темного золота и разнообразные крема и духи во флакончиках чешского стекла. Конечно, оно больше не имело ничего общего с Чехией. Как, собственно, и сама Чехия.

Я не знала, где нахожусь. На карте больше не было стран, поэтому она была нам без надобности. За четыре тысячи лет все это стало таким неважным. Я предпочитала думать, что я на пороге двадцатого века. Все остальное было излишним.

Ходили слухи о человеке, чей хозяин держал его в доисторических джунглях, заставлял питаться фруктами и рисовать лошадок на стенах пещеры. Я этого человека не знала, приятели ссылались на него, как на некоего шапочного знакомого других знакомых. Но я верила в то, что такое может быть. В конце концов, ячеек было больше, чем всех эпох в каждой стране.

Они с неизбежностью повторялись, как Вселенные, говорил Орфей. Он часто рассказывал мне, что космос действительно бесконечен. Что в его холодном, черном нутре непременно есть точно такая же планетка, среди множества других, чуть-чуть не таких и совсем иных, где живут такие же люди, и даже такие же Орфей и Эвридика, только они свободны.

У меня не укладывалось в голове, как число может быть так велико, чтобы в него уместилось все иное, что можно представить, и все почти такое же, что можно придумать. И даже еще раз то же самое. Все повторяется, говорил Орфей, просто так медленно, что кажется, будто нет.

Но я иногда думала, если они не умирают естественным образом, то это ведь значит, что они распространяются бесконечно. И однажды не останется таких планет, на которых их нет. В детстве, когда я еще не поняла, что все, что мы можем сделать — никогда не называть их, я думала о них, как о бесконечных разрушителях.

Я сыграла на фортепиано легкомысленную песенку, которую всегда любил Орфей. Она с ним совсем не ассоциировалась, музыка давалась ему не душой, но разумом,

исключительно в силу его точного, математического ума. Но Орфей сотворил ее сам, и любил ее поэтому.

Он говорил, что музыка это в большей степени математика, и что если бы он хотел, он мог бы создать идеальное произведение. Я говорила ему, что он хвалится.

А теперь я поняла, что вот оно и было — идеальное произведение Орфея, иногда я играла его целыми днями. Легкомысленная музыка, тончайший перелив, созданный для улучшения настроения, под нее можно было танцевать, можно было выдумать самые дурацкие слова, и все они хорошо ложились на нехитрую мелодию. Это было произведение математическое, а не музыкальное. Чистейшая комбинаторика.

Идеальная функциональность была красивой. Музыкальная утопия. Я промурлыкала что-то о сегодняшнем дне, сложила впечатления и посетовала о том, что время идет так быстро. Голос у меня был не слишком красивый, часто срывался. В конце концов, я захлопнула крышку фортепиано, решив больше его не мучить. Когда я обернулась, на пороге стоял Гектор. У него из кармана торчала цепочка часов, он только что их вынимал. Наверное, он был здесь довольно давно.

— Здравствуй, — сказала я. Он ответил мне так же, и я сказала:

— Давай я сделаю тебе чаю?

Гектора Сто Одиннадцатый привел два года назад. Тогда Сто Одиннадцатый сказал мне:

— Тоскуешь без второго. Купил нового. Похожи.

Я в тот момент смотрела на Гектора, тогда еще одетого просто, как все люди на Свалке. Некоторое призрачное сходство между ним и Орфеем вправду было. Сто Одиннадцатый не понимал, что я тоскую по брату, а не по его бледности или остроте его черт.

— В чем он талантлив, господин? — спросила я.

— Ни в чем. Тот тоже не был ни в чем талантлив. Нашел похожего.

Я не нашлась, что ответить. Сто Одиннадцатый продолжил устами моего брата:

— Кроме того, впоследствии этот сможет оплодотворить. Человек краток. Инбридинг вреден.

— Как романтично.

— Это смешно, потому что на самом деле думаешь по-другому.

С тех пор Гектор стал жить со мной. Как мужчина и женщина мы друг друга не интересовали, но Гектор всегда казался мне беззащитным, потому что он много времени провел на Свалке, и я хотела быть ему близким другом.

Он был смертельно бледный, какой-то тончайший человек, у него просвечивали все вены, и это придавало его аккуратному, приятному и даже аристократическому лицу совершенно мертвенный вид. В нашем с ним антураже Гектор напоминал чахоточного больного, и я все ждала, когда кровь запузырится на его губах. Она выглядела бы на их белизне совершенно рубиновой.

Я ухаживала за ним первое время, потому что Гектор сильно ослаб, и он мало что мог делать долго и сам. Может быть, именно поэтому Сто Одиннадцатый выбрал его. Орфей всегда выглядел очень болезненным. Но, в отличие от Гектора, он не болел по-настоящему.

Шло время, и Гектор поправлялся, а затем он обнаружил и свой талант. Заключался он не в искусстве, но здесь, в Зоосаду, тоже был необходим. Гектор умело следил за людьми, хорошо знал, когда и кому доложить об их планах и умело срывал их.

Некоторым неволя Зоосада была ненавистнее, чем жизнь на Свалке, так что они

пытались сбежать. Это были люди пассионарные, представляющие для наших хозяев ценность талантом и вдвойне — недоступностью, невозможностью их купить.

Не знаю, смогла бы я быть, как они, или нет. Но у меня был Орфей, чтобы не думать об этом. Я должна была быть здесь, пока Орфей находится у Сто Одиннадцатого.

Гектор, как мне казалось, ненавидел тех, кто хотел сбежать. С такой страстью и силой, на которую этот ослабший физически и эмоционально человек, казалось, не должен был быть способен. Я понимала его. Я старалась всех понимать, ведь нас было мало, и ничто не должно было разделять меня и других. Мне хотелось, чтобы между мной и человечеством исчезли все границы. Это была моя внутренняя революция.

Гектор, видимо, ненавидел людей за то, что они отказывались от того, чего у него прежде не было. Гектор рассказывал мне, что его семья погибла на Свалке. Однажды, ему тогда было десять, он встал с кровати, а его брат не смог. Он просто не проснулся. То же самое со временем случилось и с остальными. Так жили на Свалке, и в желании Гектора защитить людей от этого было даже нечто благородное.

Очень скоро он стал комендантом нашего района в Зоосаду. Это значило, что он должен был силой удерживать чужих питомцев. У Гектора было и оружие.

И хотя из людей он, пожалуй, был самым страшным в Зоосаду, я всегда находила в Гекторе нечто забавное. Было в нем что-то среднее между неловкостью и невезением, в сочетании с его обличающим пафосом это смотрелось вдвойне забавно.

— Сегодня схватил двоих, в сговоре, — говорил мне он, пока я наливала ему чай и подсовывала пирожное за пирожным. Ел он очень много, приобрел эту привычку на Свалке. Там еда почти не насыщает.

— Представь себе, Эвридика, они и знать не хотят о том, что погибнут снаружи! Глупые люди! Будь моя воля, я бы освободил их всех, пусть идут и умирают!

Но это неправда. Если бы не его воля, он не был бы комендантом. Гектор предпринял попытку отпить немного чая и закашлялся:

— Как горячо!

— Это чай, — вздохнула я. — Он горячий.

Я смотрела на пирожные, покрытые сахаром, как драгоценными кристаллами. У них был прозрачно-тонкий, прекрасный вид. Не пирожное, а чудесный золотой холм, весь в бриллиантах. Стало жаль его есть, и я отказалась от этой затеи, хотя мне нравилось сладкое.

Я добавила в чай сливки и мед, снова посмотрела на Гектора.

— Так, — сказала я. — Значит, идут и... что делают?

— Ты меня вообще слушаешь, Эвридика?

Я кивнула. Мне показалось странным, что он спрашивает. Гектор относился ко мне хорошо, и я надеялась, что мы были друзьями. Гектору это было необходимо — его многие не любили.

— В общем, полагаю, что Этеокл мог бы сработать лучше, если бы вовремя достал наручники. Та поэтесса разбила ему нос, представляешь?

— Не представляю, — честно сказала я. — Мне не нравится представлять такие вещи. Гектор улыбнулся.

— Но все равно потребую для Этеокла премию. Он неплохой малый.

Я не знала, поэтому не могла ни согласиться с этим, ни опровергнуть. Я подлила Гектору в чашку сливок, и он следил за струйкой с неослабевающим интересом. Этеокл, Гектор, Эвридика, Орфей. Еще каких-то двести лет назад эти имена показались бы людям

странными. Затем стало модно называть детей в честь героев греческих мифов, трагедий и комедий. Считалось, что такие имена принесут счастье, они были связаны с искусством и обещали талант.

Мне это всегда казалось забавным. Мы потеряли все, и вернулись к началу. Колыбель цивилизации снова качает нас.

Но было и немного грустно. Уже давно было не разобрать, кто француз, кто поляк, кто русский, кто немец, но имена еще некоторое время могли давать об этом какое-то представление.

Теперь же все мы окончательно смешались в прахе наших стран. Так быстро стало неважным все, что казалось вечным.

— А как прошел твой день, Эвридика? — спросил Гектор. Он подтянул к себе покрытый блестящей, клубничной глазурью кекс, принялся разрезать его на мелкие кусочки, и нож его то и дело ударялся о тарелку.

— Я писала для Орфея, — ответила я. — Читала и пела.

Гектор взглянул на меня. В его взгляде скользнуло характерное, влажное серебро. Это была жалость. Я нахмурилась. Гектор, как и все, считал меня несчастной дурочкой, не умеющей смириться со смертью.

Но я точно знала, что Орфей жив, и я видела его каждый вечер.

Гектор наверняка заметил, как изменилось выражение моего лица, потому что он быстро сказал:

— В общем, надеюсь на завтра у тебя такие же планы, потому что я хотел взять тебя на вечер, который устраивает Тесей, питомец Последней. Он утверждает, будто будет здорово.

— Я знаю, кто такой Тесей. А ты думаешь, как будет?

Гектор отодвинул пустую тарелку, и я увидела, что от кекса остались одни лишь крошки, да единственная изюминка, с которой Гектор устал бороться, потому что она была слишком жесткой, чтобы уступить зубчику вилки.

— Думаю, будет неудобно. Последняя там тоже будет. И, говорят, еще кое-кто из них. Вряд ли можно будет расслабиться. Но там есть люди, за которыми стоит присмотреть, так что я все равно пойду. Составишь мне компанию?

Забавно, подумала я, мы немного играем в скучную буржуазную семейную пару. Хотя мы не пара и не буржуа. Но все-таки своего рода семья. Я кивнула.

— Да, хорошо. Думаю, будет здорово.

— Я так не думаю, но будет немного лучше, если мне не придется чахнуть там одному. Люди косо на меня смотрят.

— Потому что ты мешаешь им делать то, что они хотят, — сказала я. Гектор улыбнулся, а потом украдкой стянул изюминку, сжал между пальцами и отправил в рот. У него был мальчишеский вид. Все они любят шпионские игры. И Орфей их любил.

Мальчишки.

Гектор зажег камин и некоторое время читал. Телевизор у нас был, в отдельной комнате, не стилизованной под начало двадцатого века. Но мы так привыкли ощущать себя людьми прошлого, что он стал диковинной штуковиной, мало что значащей в повседневности.

По телевизору крутили очень, очень хорошие фильмы. Однажды я наткнулась на "Сладкую жизнь" Феллини. Такой прекрасный, бессмысленный фильм о том, что и жизнь бессмысленна, хотя она очень сладка.

Моя жизнь тоже могла бы считаться сладкой, но я никогда не задавалась вопросом о том, зачем мне это все.

Потому что однажды я родилась на свет и однажды умру.

Когда мы с Гектором разошлись, я долго пыталась расшнуровать корсет. И хотя я мучилась не так сильно, как те, кто жил в аквариумах девятнадцатого века, сложности с одеванием и раздеванием были моим козырем в борьбе за право горничной жить со мной.

Я приняла ванную с лавандовым маслом и долго втирала крем в лицо и тело, смотря на себя в зеркало. Веснушки на моем носу исчезли за тонким слоем крема. Я показалась себе милой и очень потерянной.

Я прошла в спальню, пахнувшая пудрой и лавандой, сонным облаком, как я это называла. Постель оказалась удивительно холодной, потому что кто-то из инженеров забыл отрегулировать температуру. Можно было позвонить им, но я просто накрылась одеялом с головой.

Прежде чем уснуть, я прошептала:

— Спокойной ночи, Орфей.

Я проснулась от чудесного жара высокого, дальнего солнца за окном. Солнце было всем, что у нас осталось, потому что оно неизменно и очень-очень далеко. Я любила солнце со всеми его игривыми лучами, мешающими спать.

Я потянулась и сказала:

— Доброе утро, Орфей.

Некоторое время я читала, лежа в постели. Мне нравилось ощущение голода, бодрившее меня, подспудно перескакивавшее через буквы, и я с нетерпением ждала завтрака. Он прибыл через час, с легким стуком в дверь.

— Войдите, — сказала я, перевернув страницу. Мне всегда было чуточку неловко, но в то же время я знала, что мне необходимо разыгрывать этот спектакль, потому что на меня в любой момент могли смотреть. Я играла свою роль, как Медея играла свою.

— Доброе утро, — сказала Медея.

Я не выдержала, вскочила, чтобы открыть ей дверь, но Медея уже пнула ее ногой, просунула, ловко и неаккуратно одновременно, в щель поднос, а затем появилась сама. Ей было шестнадцать лет, и она была моей камердинершей, потому что Сто Одиннадцатый прочитал несколько книг о юных особах, прислуживающих богачам. Из всех девиц на Свалке, он выбрал ту, которая показалась ему самой чахоточно тонкой и самой в этом очаровательной. Гектор, со свойственным его снобизмом парвеню (даже оправданным в нашей бесконечной исторической игре) считал Медею замарашкой, но я думала, что она удивительно красива. За ее хрупкостью скрывалась вечная, классическая красота, которой, казалось, не давал расцвести воздух Свалки. Будто тронешь ее, и она развалится. Глаза у нее все время блестели особым, лихорадочным образом, казалось, будто это не человеческие ткани, но стекло. У Медеи были прекрасные, длинные волосы, и хотя она частенько вычесывала из них целые пряди, сооружая на голове старомодную прическу, стричь их Медея не собиралась. Запястья ее были так тонки, что я видела, как сочленяются в них кости. У Медеи было прекрасное лицо с миндалевидными, темно-синими глазами и необычайно аккуратными чертами, ему придавали остроты невероятный голод и болезненность. Казалось, если бы не они, лицо Медеи было бы лишено недостатков. Я держала ее дома как можно дольше, почти до самого прихода Сто Одиннадцатого.

Иногда я думала, что он не пускал Медею жить с нами, потому что хотел видеть ее изможденной, туберкулезно прекрасной барышней. Но Медея никогда не была чувствительной, слезливой девочкой, какую, без сомнения, хотел бы увидеть Сто Одиннадцатый. Она была грубой, верной и злой девицей, знающей цену своему слову. Рядом с ней я всегда чувствовала себя актрисой, которая продолжает репетировать, когда все вокруг ругаются.

Медея поставила на кровать передо мной серебряный поднос с фарфоровыми, разрисованными температурно-алыми розами ручками.

— На, — сказала она. Я вздохнула. Медея села на мою кровать, и я накрыла ее своим одеялом. Ей нужно было много тепла, больше, чем мне. На подносе были тосты, и абрикосовый джем, и мед, и горячий, слишком крепкий для меня кофе, и сваренные всмятку яйца. Я знала, что Медея уже ела, и что она хочет еще. Я взяла тост и предложила ей другой. Как все это мелко, подумала вдруг я, делиться пищей, которой у меня вдоволь. Я часто

отдавала ей вещи и вещички, которые она продавала там, на Свалке, чтобы прокормить свою семью. Надо же, люди все еще готовы были отдать деньги за что-то, что нельзя было выпить и съесть.

— Спасибо, — сказала я. — Очень вкусный джем.

— Нормальный, — ответила Медея, запихивая в рот слишком большой кусок тоста. — Сладкий.

Она была полна контрастов, ее гибнущая красота, которую могли бы воспевать сентиментальные романисты, совсем не вязалась с грубыми, голодными повадками молодого зверька. Подумав, я подвинула к ней остатки джема.

— Спасибо, — сказала Медея. — Ну ты и лапочка.

— Это комплимент?

— Неа. На Свалке ты бы сдохла.

Я знала, что Медея относится ко мне хорошо, но иногда в это сложно было поверить. Она сосредоточенно жевала, словно пыталась напомнить себе о том, что это неизменная, важная часть процесса поглощения пищи. Я спросила:

— Как твои дела?

Медея с шумом сглотнула кусок, вытерла руки о белый передник, затем вытерла нос, и еще раз — руки. В конце концов, Медея взяла ложку и стала есть ей джем.

— Прохладно, — сказала она. — Папе нужны лекарства и еще раз лекарства. Сможешь достать до конца месяца?

Я кивнула.

— А брат хотел съесть кошку.

— Он маленький.

— Ну, да. Ее голова не поместилась ему в рот. Поэтому все хорошо закончилось.

— Дети — странный народ.

— Вывод стареющий девственницы.

— Это цитата из Брэдбери.

Медея не проявила к Брэдбери никакого интереса. Она вскочила с кровати, метнулась к окну.

— Говорят, скоро приедут оттуда, — Медея указала пальцем в небо. — Быть может, брат там кому-то понравится. Он хорошо поет. Очень мило. Так мама говорит. Надеюсь, они не сожрут его, когда у него сломается голос.

— Может, лучше подождать. Отдать его в приют. Если он талантлив, ему лучше оставаться на Земле.

Медея сложила руки на груди, все еще наблюдая за чем-то в небе.

— И чего? Какая разница, как лучше? Важно, как реально.

Я опустила взгляд, рассматривая вплетенные в ковер золотистые нити. Я решила посчитать их все. Медея снова села на кровать рядом со мной.

— Ладно, я не злюсь. Ты — милая чудачка, Эвридика, и ты уже ничего не помнишь о Свалке. В целом, все ничего.

Под одеялом я стянула с пальца кольцо с крупным сапфиром и нашла ладонь Медеи, вложила в нее украшение.

— Надеюсь, можно будет что-то сделать.

Медея улыбнулась мне уголком губ. Она порывистым движением взяла яйцо, принялась его чистить.

— А у тебя какие планы на день?

— Я буду писать, затем обед, затем дневной сон, полдник, чтение, снова работа, ужин и вечерний чай с Гектором, а затем...

И я поняла, как могу ее порадовать. Хотя бы немного.

— А затем я пойду на вечер, который собирает Последняя. Хочешь со мной?

Глаза Медеи загорелись тем подростковым, прекрасным огнем, который был сильнее любых невзгод.

— Можно? — спросила она. Я улыбнулась ей, ощущая тепло, которое исходит от всего этого маленького, почти не существующего, но прекрасного человека.

— Еще как! Это же необычный день! Знаешь, особенно чувствительных дам нельзя оставлять без сопровождения! Вдруг я лишусь чувств от какой-нибудь дурной новости, или мне станет душно из-за корсета?

Я вскочила, раскрыла ящик стола и достала позолоченную шкатулку, высокую, украшенную узорами по краям, и с картинкой на крышке, где раскидистое дерево давало приют десяткам крохотных птичек, а поле внизу было усеяно цветами и ягодами. Наивная, очаровательная красота. На цепочке висел крохотный ключик, и я открыла им шкатулку, она медленно отворилась, выглянула птичка, она закружилась, и я услышала легкую мелодию, такую прилипчивую и пронзительную, что она способна была перенести меня в то место с зеленой травой и красными ягодами, если бы только я закрыла глаза. Позолоченная птичка с острым клювом так и кружилась на своем пьедестале, а я принялась выкладывать из шкатулки пузырьки, хрупкие-хрупкие, с аккуратными пробочками и разноцветными кристаллами внутри.

— Что это?

— Нюхательные соли. Вот, смотри, розмарин, мята, лаванда, фиалка. Я больше всего люблю фиалковую.

На каждом флаконе был оттеснен цветок, эфирное масло которого содержалось в соли. Все было крохотное, эстетичное, невероятно красивое. Даже неромантичные кристаллы дурнопахнущей соли было необходимо заключить в нечто столь прекрасное.

Я действительно часто теряла сознание, и мне нравились эти штучки, приводившие меня обратно в мир, нравился хрусталь, и золотые цепочки, и яркие кристаллы, и пробивающиеся сквозь неотразимо отвратительный запах нотки цветов.

— Это мои сокровища, — сказала я.

— А на них можно подсесть?

Я пожала плечами.

— Хочешь понюхать?

Медея осторожно вытащила пробку одного из флаконов, не успела она основательно втянуть носом аромат, как зажмурившись, отпрянула.

— Что это за жест? Да такой штучкой надо людей пытаться!

— Возьми фиалковую. Я люблю фиалки, — как ни в чем не бывало добавила я. — Ты будешь хранительницей моего сознания.

Медея как можно быстрее вернула пробку на место и сказала:

— Буду использовать это лишь в крайнем случае. Для начала оболью тебя водой.

— Главное всегда будь рядом на случай, если мне понадобится помощь.

Я взяла флакончик с фиалковой нюхательной солью, он сужался к низу, так что казался ведьминским пузырьком со странным эликсиром. Я расправила цепочку и повесила флакон

Медее на шею.

— Красивый, — сказала она.

— Очень даже. Не знаю, насколько это исторически аккуратно, но носи его с честью.

— Ты чего меня в рыцари посветила?

Я только покачала головой. Медее еще некоторое время рассматривала флякон. Кажется, в отличие от его содержимого, он сам порадовал ее.

— Ладно. Пойду сделаю вид, что убираюсь.

— Я благодарю тебя за честность.

День прошел отлично. Я писала Орфею, читала, спала, даже вышла в искусственный садик в конце нашей секции, где журчали ровненькие ручьи и пели птички, тренировавшие слабые крылышки в недалеких полетах. Я подумала, что в отличие от меня, Орфей не мог быть счастлив здесь. Я любила золотые клетки, мне нравилось быть в одиночестве, в замкнутом пространстве, мне нравилось, что я могу писать, когда мне вздумается, любить прекрасные вещи и смотреть на живых птиц.

Орфей не любил несвободы, ему нравились моря, и бесконечно большие числа, и огромные, беззвездные пустоты Вселенной, он не смог бы заставить себя быть счастливым здесь. Я смотрела на кристальный ход холодного ручья и думала о том, снятся ли Орфею сны.

Для него все закончилось, когда Сто Одиннадцатый узнал, что Орфей связан с мятежниками Свалки. Тогда он и забрал моего Орфея, забрал себе и навсегда.

Мятежники, в сущности, не представляли никакой опасности ни для одного из наших хозяев. Они знали, что те, кто пришел сюда, бессмертны. Поколениями их отцы, деды, прадеды утыкались в одну и ту же стену. Они умирали и не могли убить.

Сейчас мятежники уничтожали произведения искусства, ведь это была единственная слабость наших господ, которую мы когда-либо знали. Это движение было отчасти забавным. Они похищали картины и обещали присылать их кусочки безутешным от горя чудовищам. Они требовали дать людям воды, хлеба и воздуха.

Они боролись за правильные вещи абсурдным, но единственно действенным методом. Потому что ничего, кроме абсурда, не осталось.

И Сто Одиннадцатый так испугался моего Орфея, моего Орфея, так хорошо считающего в уме и так любившего сладости, моего серьезного старшего брата. Он испугался, что Орфей войдет в святая святых и разрежет какое-нибудь дорогое его сердцу полотно. Он испугался, что Орфей разобьет скульптуру. Он испугался, что Орфей сожжет едва написанную поэму.

Это смешно, потому что бояться было нечего.

Душный запах садовых роз делал воспоминания далекими и словно бы ненастоящими. Я взглянула на часы и поняла, что мне некогда вспоминать страшные вещи. Я попрощалась с птицами и цветами, и отправилась собираться на вечер. У меня в голове звучали наши старые, детские разговоры с Орфеем. Я часто говорила ему: мой братик-гений.

Медее долго помогала мне одеться, справиться с вечерним платьем и его бесконечными застежками было непросто. Я вытащила из-под узкого воротника жемчужное ожерелье, и оно оказалось неестественно горячим. Сто Одиннадцатый был рядом.

— Слушай, а сама Последняя там тоже будет?

— Это ее вечеринка, — я попыталась пожать плечами, но Медее слишком сильно затянула корсет. Я подумала, что нюхательная соль непременно пригодится. В конце концов, Медее, наверное, захотела оправдать свое присутствие на вечеринке. — Думаю, она

ее не пропустит.

— Я слышала, что она мегакрутая межгалактическая преступница. Настолько крутая, что Первая вырвала ей матку!

— Сомнительное определение крутости, и я не уверена, что у них есть матки, — сказала я. Медея усадила меня на стул и принялась расчесывать. Я смотрела нас нас, бледных, окруженных черненым золотом и россыпью похожих на инопланетных, красивых жучков заколок. Я взяла двоих и устроила между ними бой. Взгляд Медеи чуть изменился, мне показалось, что она с нежностью отнеслась к моим боевым насекомым.

— Но правда, — продолжала она. — Я слышала, Последняя еще ужаснее остальных. Чтс всю ее Колонию уничтожили!

Эта история когда-то давно была очень, очень популярна. Она значила, что все эти существа в принципе уничтожимы.

Последняя, видимо, сильно насолела всей их популяции, раз Рой Королев, их верховный совет, последовательно убил всех ее детей. Говорили, что она чувствовала, как умирает каждый, и сошла с ума. Я, впрочем, не видела разницы — их разум был так далек от меня, что прикинуть, кто из них безумен было так же сложно, как представить, чем беззвездная пустота страшнее звездной.

— Может быть, — прошептала я так, словно решила рассказать Медее страшную историю. — Она была безумна с самого начала. Представь себе, кем надо быть, чтобы монстры сочли тебя чудовищем.

Худшей карой для самок было лишение репродуктивных органов. Последняя потеряла не только колонию, но и саму себя, свою вечную суть. И ее отправили к Первой, чтобы она служила ей. В окружении чужих детей, чужих мужчин (хотя, конечно, назвать их мужчинами, наверное, было нельзя), она, наверное, должна была чувствовать себя ужасно. Но я не знала. И не знала, за какие преступления Последняя заплатила такую цену. Мне просто хотелось развлечь Медею. Я сказала:

— Вселенная так беспредельна и подразумевает большую свободу действий. По-настоящему большую. Почти бесконечную. Это должно быть очень страшное вечное существо. По-настоящему страшное.

Я совсем понизила голос, и последние слова вылетели невесомыми, жуткими птичками. Медея нахмурилась и стала расчесывать меня сосредоточеннее. Некоторое время она молчала, а затем спросила:

— А ты ее видела? То есть, не видела, а...

— Чувствовала. Да. Она приходила к Сто Одиннадцатому. Смотрела на меня. Но она молчала. От нее, знаешь, вправду особое чувство. От них ото всех идет разного рода холод. И от нее он трупный, такой страшный, смертный.

— Все, хватит!

Я передала ей одну из заколок, победительницу с малахитовой спинкой. Закалывая мне волосы, Медея смотрела куда-то поверх моей головы. Я надеялась, что получится аккуратно.

Когда пришел Гектор, мы сидели рядом молча.

— Какие-то вы хмурые, — сказал он и велел Медее налить ему стакан сока, но поднялась я.

— Она же не слуга по-настоящему, зачем ты ей помыкаешь?

— А кто она? Она, вообще-то, получает за это еду и деньги.

Я прошла мимо Гектора и сжала его нос двумя пальцами.

— Прекрати, я взрослый человек!

— Взрослые люди так себя не ведут.

Но он не стал вести себя, как взрослый человек, и впоследствии, так что, когда мы вышли, Гектор и Медея находились в глубоком недовольстве друг другом. Мы шли по широким, как улицы в старые времена, коридорам. Сначала, помню, мне было очень страшно. Стекла в воздушных коридорах были так чисты, что мне казалось, будто я сейчас упаду в наполненное синевой и облаками небо. Все это ощущалось, словно невесомость, и я кружилась в надежде взлететь или упасть, и смеялась, а Медея шагала впереди нас всех. Как только мы попадали в очередной узел небоскреба, небо сменялось джунглями или Океаном. Я видела экзотические цветы в зеленых колыбелях, видела проплывающих мимо огромных рыб с серебряными боками, как красиво, думала я, сколько разной жизни на Земле. В стекло врезалась большая стрекоза с блестящими, синеватыми крыльями. Она рванулась вверх, затем снова ударилась о стекло, и мне было ее жалко, потому что она так и не поняла — выхода отсюда нет. Я прикоснулась пальцем к стеклу там, где с другой стороны было ее тонкое, длинное брюшко. И хотя я боялась насекомых, в этот момент мне стало радостно от ее хрупкого блеска и смелости.

Мы шли полчаса или даже чуть дольше, мимо нас проезжали машины на электрическом ходу, у них были желтые пятна на крышах от заходящего солнца.

Ячейка Тесея располагалась на самой границе, отделяющей район, где я жила, от соседнего. Снаружи дверь казалась стальной, и это было не то чтобы странно, но как-то неуютно. За ней мог скрываться любой мир, любая эпоха.

Впрочем, на самом деле я не ждала сюрпризов. Последняя любила Рим с его роскошными, развратными пирами, заговорами и публичными выступлениями, с его извращенной чувственностью и совершенным правом.

И когда мы позвонили, нам открыли дверь две девушки, на которых были только набедренные повязки. Я почувствовала себя гостьей из будущего. Думаю, если бы я вправду была дамой века прогресса, мне уже понадобилась бы моя нюхательная соль.

Они открыли перед нами двери в абсолютно новый мир. Если Мультивселенная, как говорил однажды Орфей, может быть устроена так, что в бесконечности летают пузырьки с планетами и темнотой, Вселенные, то, может быть, это вдохновляет наших хозяев. Гостевой зал был один, но большой. Я увидела купальню, наполненную прозрачно-голубой, похожей на жидкий драгоценный камень, водой. В ней плавали лепестки роз и обнаженные люди. Всюду был мрамор, пахло умирающими цветами и жареным мясом.

Люди лежали на длинных кушетках и подушках, и я видела шелк, такой, что его хотелось потрогать и вино, такое, что его хотелось пить. Последняя, должно быть, наняла людей со Свалки для того, чтобы вечеринка (оргия?) смотрелась действительно массово. Римский упадок был сохранен и преумножен. Я видела людей, запихивавших в себя виноград, как зомби из старых фильмов ужасов, где у грима и декораций бюджет был одинаково низкий. Какая-то парочка на одной из кушеток миловалась, видимо, они сочли ситуацию располагающей.

Гектор сказал:

— Интересно.

Мимо нас пронесли большое блюдо с зажаренными птичьими язычками.

— По-моему это ужасно, — сказала Медея.

— Загляни в словарь, дорогая. Эту ситуацию ты найдешь под заголовком "беспричинная

жестокость".

Я помолчала, затем добавила:

— Надо искать на букву "б".

Перед нами, будто клоун из коробочки, выскочил Тесей. Он выбивался из белого (мрамора, тог и статуй), царившего вокруг. Выбивался Тесей и из эпохи. Он был одет в костюм средневекового шута. Чем бы ни увлекалась Последняя (а не все были так постоянны, как Сто Одиннадцатый), Тесей оставался неизменным шутом при ней — в красно-золотом костюме, сшитом, казалось, из лоскутов, в остроносых ботинках с бубенцами и смешном, ушастом головном уборе, пародии на корону.

Тесей родился в Зоосаду, поэтому в нем не было ни капли нашей бледности, он весь был золотистый, как искорки на его бубенцах. Надел бы на себя корону — стал бы королем. Так что Тесей нравился мне гораздо больше, пока умел себя иронично обыграть.

Это был человек какой-то сказочной красоты, в нее даже не верилось. Я считала красивыми или, по крайней мере, симпатичными большинство моих знакомых, потому как они были люди во всей их прекрасной схожести, но Тесей был кем-то особенным даже для моего благосклонного взгляда. От него нельзя было отвести взор, он весь был золотой и чудесный, только глаза — голубые, как невероятное небо на открытках. И потому костюм шута, смешной, нелепый и почти зловещий в этом, выглядел как идеальное дополнение к такой красоте. Он смягчал ее, как молоко смягчает излишнюю сладость торта.

Без этой смешинки на него невозможно было бы даже смотреть.

Тесей был музыкантом, невероятно талантливым. Это он частенько писал музыку для Орфея, чтобы он делал вид, будто не зря живет со Сто Одиннадцатым. Тесей дружил с моим братом, и хотя бы за это я любила его. Тесей был хорош в том, что он делал, более того — хорош дьявольски. Поэтому ему можно было все. Он никогда не видел ничего, кроме Зоосада, не думал о Свалке, не мечтал о Нетронутом Море, и потому развлекался как мог. Не было никого ни прекраснее, ни избалованнее Тесея.

Думаю, Последняя не была популярной личностью (личностью?) среди наших хозяев, ее питомец, однако, купался во всеобщей любви (любви?). Сложно было рассуждать о тех, кто не влезал в понятия, выработанные человеческой культурой за долгое-долгое время до их прихода. Нам все еще нужно было осмыслить их. Я часто размышляла о том, как они могут мыслить и чувствовать. Чтобы понимать их, нужно было понимать историю, которая за ними стоит. Они, наверняка, пребывали в трехтысячелетнем восторге от нашего искусства, потому что вели праздный образ жизни. Приходили, опустошали планеты и уходили. Активнейший период их жизней приходился на захват планет, затем они просто питались ими. Лично я не могла провести без дела и недели, мне все время хотелось чего-то нового. Они были до известной степени по-другому устроены, но альтернатива их явно увлекала.

Тесей щелкнул пальцами перед моим носом.

— Эвридика, ты в порядке?

— Да, — сказала я. — Все хорошо, спасибо и прошу прощения.

— За что?

— Не знаю, это триада, которую я произношу в любой неясный момент.

Тесей приобнял меня и Медею, склонился к ней, назвал ее как-то ласково, что-то ей прошептал — я не все ясно слышала. Я обернулась к Гектору.

— Ты почему не идешь?

Вид у него был обиженный. Он потерял галстук, а затем сказал:

— Я возьму напитки.

Должно быть, дело было в Тесее. Многих смущало, что он без умолку болтает о себе, но мне все нравилось. Тесей был интересным человеком, и у него было много достижений, судя по тому, что он про себя рассказывал.

— Подумайте, дамы, — говорил он. — Именно я все это организовал.

— Когда я хочу такое организовать, просто говорю, что у меня дома есть еда, — пожала плечами Медея.

— Не обижайся, у нее период отрицания авторитетов, — сказала я. Но Тесей не был обидчивым, он только мотнул головой, звякнул бубенцами на шапке, показывая, что это все не так уж важно, и продолжил:

— Собственно, дорогие, это не просто вечер Последней, когда она должна будет утереть своими лапками, или чем еще там, слезы от осознания того, сколько я делаю для нее!

Тесей взял театральную паузу, слишком сочную и долгую, чтобы скрывать нечто по-настоящему важное. Эта пауза меня обманула. Тесей сказал:

— Первая здесь, вместе со своей дочуркой! Держу пари, вы такого не видели!

— Мы вообще их никогда не видели, Тесей, — сказала я. Он снова отмахнулся от меня. В секунды, когда Тесей не говорил, он лучезарно улыбался. Это было похоже на музыку, которую слышишь, когда тебя переключают с одной телефонной линии на другую. Зубы Тесея очень сверкали.

Надо признаться, я была удивлена. Первая никогда не посещала нашего района на моей памяти, хотя говорили, что она побывала здесь незадолго до того, как Сто Одиннадцатый привез меня. Она путешествовала, искала прекрасное и вдохновляла свою дочь. У каждой Королевы Колонии, говорил Сто Одиннадцатый, рождается единственная дочь, и она однажды будет иметь собственную колонию, и у нее тоже будет одна единственная дочь.

Бесконечная итерация, так бы Орфей сказал. Большого темпа размножения, говорил Сто Одиннадцатый, они просто не могут себе позволить, являясь, до определенной степени, вечными существами. А тут бы Орфей сказал, что нельзя являться вечными существами только в определенном смысле, потому что вечность не должна иметь ограничений и пределов, иначе она не соответствует условиям выполнения задачи.

Мы сидели на подушке, Тесей подтянул к себе половину граната, раскрыл ее пальцами. Он мог позволить себе есть некрасиво, даже забавно.

— Нет, если бы вы только видели, — говорил он, отправляя в рот рубиновые зернышки. — Какое у Последней было лицо, когда она узнала, что обязана устроить вечеринку в честь Первой! Если бы я только видел!

Тесей засмеялся, и бубенцы вторили ему мягким перезвоном.

— Ослатины мне! — крикнул он. — Эй, остолопы, я же договаривался, чтобы была ослятина! Древние римляне жрали чертовых ослов!

Я вздохнула, а Медея засмеялась.

— Не все получилось, — шепотом сказал Тесей. — Но я все равно молодец!

Теперь я замечала среди людей в тогах, принадлежащих Последней, гостей. Большинство из них были мне знакомы — люди из нашего района. В местный Рим они проливались как капли других времен. Я видела двух девушек, одетых по моде, бытовавшей незадолго до Великой Французской Революции и несколько после. Одна напоминала мне Марию-Антуанетту, а у другой на шее была красная бархотка. Я видела мужчин в строгих костюмах, восточноевропейских коммунистов шестидесятых годов, видела развеселых

хиппи, видела средневековых крестьян. Наверное, впервые нанятые для массовки люди, считали все это костюмированной вечеринкой. Они и не представляют, насколько она затянулась. Чтобы налить себе немного вина с медом, я прошла мимо дамы в костюме девятнадцатого века, и обрадовалась, что к моему времени корсеты стали несколько свободнее. Мне было так ее жаль — она обмахивалась веером с изображением синих бабочек так отчаянно, словно уже не чувствовала потоков воздуха, стремившихся ей в лицо. Ее партнер во фраке уже держал руку в кармане, близился обморок, и он готовил нюхательную соль.

Медея тоже это заметила, когда я вернулась, она сказала:

— И скоро ты так же будешь?

— Надеюсь, нет, — ответила я. — Я, в общем, тебя позвала, чтобы ты всему порадовалась, а не чтобы лишаться чувств у всех на глазах.

Медея взяла мое вино с медом и сделала глоток, а затем скривилась. Я продолжала рассматривать людей, я так любила их всех, даже тех, с кем едва ли перекинулась парой слов. Это были люди с умными глазами, осторожные люди, и в то же время люди, привыкшие друг другу доверять.

Вот почему Гектор был так бесконечно одинок.

Теперь, когда я познакомила свой взгляд с людьми, присутствующими в зале, можно было впустить в себя и все остальное, что было прекрасно. Зал прорезали два ряда длинных колонн, и между ними были скульптуры столь идеально белые, что глазам становилось больно. Они не были расставлены естественно, во всех попытках воссоздать прошлое всегда будет нечто от музея. Коллекция Последней считалась прекрасной среди ценителей скульптуры. В прошлое столетие она держала при себе невероятно талантливого мастера. Он изготавливал бюсты и статуи местных художников, писателей и музыкантов после их смерти. Таким образом он запечатлел для Последней людей собственного столетия, но они были так безупречно стилизованы под греческую и римскую античность, что это нельзя было назвать памятью.

Какие это были живые лица, какие глаза, пусть без зрачков, но со столь выразительными взглядами. Какие были тела — безупречно атлетичные, замершие в середине движения, прекрасного в своей незаконченности. Было все, даже складки на одежде, казалось, можно тронуть рукой и расправить.

Все было последовательно, живо, абсолютно гениально. Но, конечно, кроме определенных, выразительных черт, ничего не осталось от тех людей, которых мастер пытался изобразить. Ни излюбленных поз, ни выражений лиц, ни характерной одежды.

Эпохи сменялись, и то, что оставляло память о римлянах, казалось мне слишком обезличенным для тех, кто умер столетие назад.

Но как же хотелось плакать от такой красоты.

Сам мастер умер на исходе восьмидесяти седьмого года жизни. Некому было увековечить в этом зале и его, чтобы люди, ныряющие в купальни и пьющие вино, смотрели на скульптора, которого уже нет.

Но, как ни смешно, только его я и знала, а все остальные были просто мраморными, прекрасными мертвецами с белыми руками и точеными пальцами. Когда люди, ушедшие и пришедшие, стали мне привычны, я поняла, как холодно здесь. Все было похоже на фотографию, которая проявляется постепенно. Казалось, мучительная красота статуй давно должна была покрыться коркой льда. Это был не тот холод, который ощутим сразу и делает

губы синими, а руки неприятными. Холод, который чувствовала я, продирал что-то внутри, от горла и ниже.

Они были здесь, и было их много. Я стала искать их взглядом, некоторые были в человеческих телах. Люди, которых нанимали, чтобы они пили, ели и купались знали, что должны быть готовы и к тому, что их на некоторое время позаимствуют. И я поняла, что среди тех, о ком я подумала сначала, что они мертвецки пьяны, были наши вечные господа. Они глядели в пустоту, подволакивали ноги, приоткрывали рты. Мне стало жутко.

Я знала, что еще больше их остается невидимыми. Где же Первая?

Я слышала, что однажды она тоже устраивала вечер в стилистике древнего Рима. Он был, однако, еще более тематическим. Она воспроизводила пир Гелиогабала с обязательной, финальной гибелью всех гостей в море цветов. Они все тогда перевоплотились в людей, чтобы почувствовать, как те умирают.

Орфей, когда узнал об этом, сказал, что с определенной точки зрения концепция представляется гуманной. Люди эти, в конце концов, не знали и не чувствовали, что погибают.

Я испугалась, что Первая захочет повторить нечто подобное сегодня, а я взяла с собой Медею, и мой Орфей, кроме того, останется без меня.

Я уже хотела рассказать Медее о том, что слышала про пиры Первой, чтобы она ушла отсюда поскорее, как рядом опустился Орест. Орест нежно сжал мою руку и вручил мне золотой кубок с вином, пахнущим медом и пряностями еще сильнее.

— Не мог смотреть, — сказал Орест. — Как такая задумчивая особа скучает, хоть вокруг и царит веселье.

В этой фразе было ровно столько самоиронии, чтобы она показалась обаятельной. Я взглянула на Медею и увидела, что она увлеченно рассказывает что-то Тесею. Должно быть, я и вправду задумалась. И Орест знал, что со мной такое бывает. Он частенько проявлял ко мне мужское внимание, приятное и ненавязчивое, и я даже считала, будто нравлюсь ему, а затем всякий раз разубеждалась в этом, увидев его с другой женщиной.

Орест был режиссером. Он снимал потрясающие короткометражные фильмы, в которых даже носящийся по ветру пакет казался символом такого одиночества, что хочется умереть. Себя я гениальной не считала, хотя, надо признать, определенный талант у меня действительно был, раз Сто Одиннадцатый обратил на меня внимание. Однако меня окружали люди, которые действительно творили нечто абсолютное — во всех смыслах.

Орест был высокий и изящный молодой человек. Я знала, что он провел на Свалке некоторое время, а также, что он ведет не слишком здоровый образ жизни, что в наше время опаснее, чем в любой другой исторический период. Но ничто из того, что с Орестом происходило, словно бы не оставляло на нем никаких следов. Он всегда был весел, несколько манерен и обаятелен. Он, как и вторая питомица его хозяина, Артемида, был вынужден (хотя в случае Ореста это явно не то слово) играть в представителя высших парижских классов шестидесятых-семидесятых годов. Играл он, надо сказать, убедительно, не пропуская ни одной юбки и ни одного повода выпить.

Его спутница и соратница Артемида была моей хорошей подругой. И хотя она выглядела достаточно агрессивно, ей не хватало тонкой сигаретки, пастиса со льдом и маленькой собачки, чтобы довершить образ бессердечной парижской богачки. За счет этой нехватки диоровский нью-лук платьев Артемиды, черные перчатки, шляпки, норковые накидки, бриллиантовые кольца — все было лишь предвкушением ее надменной

раздражительности, с которой никто никогда не сталкивался. И хотя черты лица Артемиды тоже сообщали некоторую злость то блеском зеленых глаз, то ярким изгибом губ, она, в конце концов, никогда не подтверждалась. Артемида была самым добрым человеком, которого я когда-либо знала. Вообще-то она играла в театре, причем всегда главные роли, но делала это без любви и счастья, хотя и нравилась своему хозяину.

Основной деятельностью Артемиды была благотворительность, она собирала деньги для обитателей Свалки, тайно проносила им еду, воду и лекарства. Артемида была бесстрашной и прекрасной, я хотела бы когда-нибудь стать похожей на нее (хотя я давным-давно выросла в ту, кто я есть, конечно).

Артемида тепло улыбнулась мне. У нее всегда были силы и энтузиазм, и я была уверена, что вечер для нее только начинается. От нее пахло не только духами, но и косметикой. От Ореста пахло, в основном, алкоголем.

Тесей незаметно исчез, я поискала взглядом Гектора, он топтался у чаш с вином, делая вид, что раздумывает, какое выбрать. Гектор выглядел нелепо, и мне захотелось позвать его к нам.

Он сделал вид, что не услышал меня, и я решила его не неволить.

Орест уже успел познакомиться с Медеей, пока я над чем-то раздумывала, и теперь я слышала, как он рассказывает ей о гостях. Про Неоптолема я и так все знала, он был у нас на небосклоне второй звездой, но, в отличии от Тесея, блуждающей. Неоптолем был заносчивый художник с невероятно редким даром. Он видел их. И поэтому он путешествовал от одного хозяина к другому. Они любили смотреть на себя, любили, чтобы он их рисовал. Сейчас Неоптолем, кажется, принадлежал Четыреста Тридцать Четвертому. То, что Неоптолемом никто в отдельности не владел придавало ему мобильности, самомнения и критичности. Он даже некоторое время жил со мной, пока Гектора еще не было, и рисовал Сто Одиннадцатого, но так и не дал мне увидеть его. Неоптолем сказал, что для моей хрупкой психики это будет слишком большим потрясением.

Он был неизменно харизматичный, но иногда в этом почти даже неприятный. Неоптолем одевался в стиле двадцатых годов, в этом плане мы были соседями. Он называл себя абстракционистом, и это было забавно, потому что рисовал он, в основном, их.

Они не спорили. Даже для самих себя это были существа абстрактные.

Неоптолем прошел мимо нас, швырнул на подол моего платья корку от апельсина. Это могло значить что угодно, но, скорее всего, он имел в виду, что после вечера начнется наша ночь. Орест задумчиво кивнул, Артемида сказала:

— Ты пойдешь, Эвридика?

Я кивнула. Орест продолжал:

— Неоптолем придумал, что у нас должно быть свое искусство. Не такое, как любят они. Иногда мы собираемся на Биеннале. И обязательно, если будешь об этом писать, пиши с большой буквы!

— Биеннале, — пояснила я. — Выставка, проходящая раз в два года. Но у нас она проходит три раза в месяц.

— И в чем смысл? — спросила Медей.

Артемида весело, заливисто засмеялась.

— Вот именно! — сказала она. — Смысла — нет! Совсем! Никакого! Это полная бессмыслица!

Орест уже забыл об апельсиновой корке, а я продолжала рассматривать ее, неожиданно

для себя слушая очень внимательно. Теперь Орест рассказывал о тех, кого я совсем не знала. О тех, кто приехал с Первой.

— Так, начать с невероятного или с ужасного? — спросил Орест. — На твой выбор, ибо мне не терпится рассказать вам обе новости.

Медея захлопала в ладоши.

— Давай с ужасного! Обожаю все ужасное!

Я бы предпочла невероятное, но для Медеи этот вечер был важнее, чем для меня. Я взяла виноградинку, но не успела съесть ее, потому что Орест заинтриговал меня. Он сказал:

— Видишь мужчину в алой накидке с жемчугом? Так вот, это питомец Первой.

Ни о каком винограде речи уже не шло, я вся вытянулась, стала слушать. Я любила людей, они вдохновляли меня, и это о них я думала большую часть времени (особенно, если учесть, что Орфей — тоже человек). Мне было ужасно интересно, что за новый человек приехал к нам, что он любит, какие у него мысли, идеи, чувства, какая судьба.

Я рассмотрела в толпе мужчину, о котором говорил Орест. Это был, тощий настолько, что средневековые мог представлять довольно аутентично, мужчина, похожий на обтянутый смуглой кожей скелет. У него были темные, горящие глаза, и зубы его казались очень белыми. Он вызывал смутную приязнь, хотя на вид в нем не было ничего привлекательного. Нечто в его чертах очень располагало.

Он был карпатский князь, или кто-то вроде, я не слишком разбиралась в устройстве Восточной Европы в Средневековье. На нем была богатая, расшитая драгоценными камнями одежда с меховыми вставками. Должно быть, люди в тогах ему очень завидовали.

Орест сказал:

— Это — Одиссей. И, мои дорогие девушки, такого искусства вы еще не видели. Первая подобрала его на Свалке.

— О, вот бы она меня подобрала на Свалке, — мечтательно сказала Медея, и Орест, словно ожидал этого, ответил:

— У тебя вряд ли есть шанс. Если только ты не убиваешь людей.

Я, Артемида и Медея тут же обернулись к нему. Он довольно улыбнулся. Умение Ореста собирать сплетни, наконец, принесло ему наше неусыпное внимание.

— Да-да, дамы, вы вовсе не ошиблись, — сказал Орест. — Он убивал людей. Больше сорока человек. Понимаете? Он вырезал из них органы и сшивал их вместе. В итоге сделал...

— Органного монстра? — с восторгом спросила Медея.

— Вроде того, малышка. В общем, Первая заинтересовалась им, когда ей доложили о таком интересном человеческом экземпляре. Первая была в абсолютном восторге, когда увидела то, что он сотворил. Она сказала, что это искусство. У меня плохие новости для нас, если пойдет мода на серийных убийц, мы можем оказаться там же, откуда нас взяли.

Я была не против оказаться там, откуда меня взяли, но, наверное, Орест не совсем это имел в виду.

Я все смотрела на этого человека и думала о том, как так могло получиться, что он убивал других людей. Он с кем-то говорил, и хотя взгляд его казался лихорадочным, у него были обычные, человеческие глаза. Совсем нестрашные.

— А почему он убивал людей? — спросила я. Орест пожал плечами.

— Быть может, мама его не любила.

Но я не могла понять. Он был как мы все, зачем ему, в таком случае, убивать таких же существ, как он. Артемида сказала:

— Странно. Неужели она увидела красоту и в этом?

— Думаю, красота сшитых друг с другом органов ей роднее, чем "Рождение Венеры" какого-нибудь Кабанеля. Может, она с чего-то решила, будто они родственные души. Знаю только, что монстр из слизи и тканей пришелся ей по вкусу, и другого монстра, его создателя, она забрала с собой.

У этого человека было имя. Одиссей. Я смотрела на эти руки и думала, правду ли говорит Орест. Эти руки отбирали жизни?

Орест уже говорил:

— А теперь — невероятное! Посмотрите в сторону девицы в блестящей юбке, которую изрядно укачало, да-да, она очень безвкусно одета, как сказал бы Тесей. Она не перебрала, и это не один из хорошо знакомых нам импозантных господ.

Я лишь на секунду кинула взгляд в сторону девушки, которая шла по залу в сопровождении смотрящего в пол кудрявого молодого человека. У девушки были не то развязные повадки, не то просто невероятно больная голова. Она то и дело приникала к молодому человеку, одетому как романтический юноша времен Эдгара Аллана По. Он и бледен был так, словно тоже потерял свою Вирджинию или, быть может, ветер унес его Аннабель Ли, что, в принципе, одно и то же.

Девушка припадала к нему, утыкалась носом ему в воротник, затем отталкивалась от него, чтобы пройти пару шагов. Ее одежда не отсылала ни к какой эпохе. Пустой знак.

— Это Семьсот Пятнадцатая, — сказал Орест, когда мы налюбовались на прогулку девушки.

— Принцесса?!

Орест кивнул, чтобы выглядеть еще значительнее. Артемида сказала:

— Я слышала, что Семьсот Пятнадцатая так любит людей, что все время использует человеческое тело.

— Получается у нее не слишком ловко, — сказала Медея. Я смотрела на сияющую юбку в пайетках, на кожу, покрытую блестками, на разноцветные туфли. Выглядела Семьсот Пятнадцатая так, словно собиралась не глядя. Ничто ни к чему не подходило, но, казалось, все радовало ее, как ребенка.

— А это — Полиник, ее питомец.

Но я уже отвела взгляд от него, и от принцессы в человеческом теле. Меня интересовал только Одиссей. Артемида и Медея удивлялись, зачем принцессе человеческое тело, которым она не умеет пользоваться, да еще так надолго, а я вовсе не думала об этом.

В конце концов, я поняла, что больше не могу терпеть. Я положила виноград обратно на большую, серебряную тарелку, переступила через обнимающуюся на полу пару, потому как вечер становился все более томным, прошла мимо Гектора, так и стоявшего у чаш с вином, а также получила щедрую порцию брызг из купальни, в которую прыгнул какой-то парень. Наконец, путь мой был закончен. Я остановилась прямо напротив Одиссея. Вблизи его глаза горели еще ярче, а кожа, казалось, была натянута на скулах еще сильнее.

У него был загробный, жуткий вид. Словно он не убивал, а был убит.

Я сказала:

— Здравствуй. Я — Эвридика.

Мне хотелось протянуть ему руку, но я не стала, потому его рука приносила смерть. Улыбка Одиссея стала шире, а глаза были теперь похожи на два уголька, которые от прикосновения воздуха сейчас станут красными. Они не стали. Одиссей только сказал:

— Очень приятно познакомиться.

Он не назвал своего имени. У его черт было южное обаяние, южане очень красивые и улыбчивые, но в Одиссее я теперь рассмотрела что-то опасное и хищное, делавшее его лицо странным.

— Зачем ты убиваешь людей? — спросила я.

— Эвридика!

Я обернулась и увидела, как Орест прижимает руку ко лбу. Одиссей смотрел на меня. Затем он чуть склонил голову набок и облизнул губы. Он сказал:

— Потому что я знаю, что такое любовь.

Он не смутился. Затем добавил каким-то очень легкомысленным тоном.

— И потому, что это не твое дело.

— Нет, — сказала я. — Я тоже абсолютно точно знаю, что такое любовь. Это не ответ.

Блестящий взгляд Одиссея остановился на мне. Он смотрел так, словно кусал меня. Но я не хотела показывать ему, что боюсь. Я должна была знать, почему этот человек поступал так с другими людьми. Это противоречило всему, во что я верила, поэтому мне просто необходимо было понять.

Но прежде, чем Одиссей что-либо ответил мне, заиграла музыка. Я обернулась. Тесей стоял рядом с купальней. Его окружали, словно поклоняющиеся ему, как божеству жрецы, музыканты. Инструменты уже ожили в их руках, но Тесей все раскланивался, оперевшись на свою виолончель, будто она для него ничего не значила.

Люди вокруг обращали на него мало внимания. Они ели, пили, смеялись, веселились.

Но я почувствовала, как напряглась тишина, как все, что оставалось скрытым, неприсутствующим, вынесенным за скобки, приготовилось внимать. Как же переполнен на самом деле был зал.

Тесей, наконец, сел на стул с высокой спинкой, взял виолончель. Он чуть склонил голову, слушая мужчину, вынырнувшего из купальни, кивнул, а потом перехватил смычок, будто скальпель.

И все изменилось. Наверное, Последней было все равно, как пройдет вечер в глобальном смысле. Ей хотелось похвастаться своим питомцем.

Перво-наперво виолончель издала немелодичный, проникающий в голову, как выстрел, звук. Тесей мог позволить себе поиздеваться. Он смешным движением поправил свою шапку, уронил смычок, снова перехватил его и поднес к струнам.

Вот тогда музыка полилась. И люди, куда менее чувствительные к музыке, чем их хозяйка, вскинули головы, отвлеклись от всего, потому что Тесей играл прекрасно, словно смычок его путешествовал не по струнам виолончели, а по собственным моим костям, по плоти моей, по самому сердцу. Каждая нота отдавалась внутри, как еще одно бьющееся, живое сердце. Я никогда прежде не слышала этой мелодии. У нее не было имени и прошлых исполнений, но мне так отчетливо представился сад после дождя, пронзительный от запаха цветов и криков далеких птиц. В том саду было много камней, а все цветы были белыми, и это значило, что у них грустный аромат. На веранде кто-то пел, потому что стоны виолончели были похожи на гортанный, тоскливый голос. У песни не было никаких слов, зато была протяжность, характерная надрывность народной музыки. Вся эта картинка неожиданным образом напомнила мне о маме, и об Орфее, и о доме, которого у меня никогда не было, но о котором я мечтала. У меня из глаз брызнули слезы, потому что это было лучше всего на свете.

Люди вокруг тоже замерли. Никаких посторонних звуков не осталось. И я думала, видят ли они то же, что и я, или каждый — свое. Я утирала слезы, слушая Тесея, и ничего в нем не было от того самодовольного парня, который встретил нас. Я не знала, кем нужно быть, чтобы создавать такую музыку.

Еще я думала о том, что видят они. Представляют ли они картинки и ощущения, как делаем это мы. В конце концов, того, кто не может ничего вообразить, не должно поражать искусство, ведь это всегда контекст, разворачивающийся в сознании.

Виолончель отпустила пронзительную, протяжную ноту, и я почувствовала, что наступает осень, и сад уходит. Я тосковала по нему, пока умирали цветы.

И когда Тесей, наконец, отвел смычок, я поняла, что наступила зима. Раздался рев аплодисментов, показавшийся мне тошнотворным после музыки Тесея, но я нашла собственные ладони ударяющимися друг о друга в общем хоре. Мы были как доисторические животные, которых выбросило на берег, неразумные, хлопающие плавниками и очень удивленные.

Когда я обернулась к Одиссею, его не оказалось рядом.

Все изменилось, когда Тесей закончил играть. Его собственное лицо не выражало понимания того, что Тесей сделал, но власть свою он ощущал чудесно. Теперь никто больше не нырял с разбегу в купальню, милующиеся парочки разделились, и каждый смотрел в свою сторону. Если бы припозднившийся гость вошел в зал именно сейчас, он мог бы подумать, что Тесей испортил вечеринку, и всем стало вдруг неловко. Но это только потому, что бедняга гость не слышал музыки, которая звучала для всех остальных.

Мне казалось, что отдельные ноты все еще всплывали в моем разуме, и это не давало мне сосредоточиться ни на чем другом. Я поискала взглядом Одиссея, но безынициативно и безрезультатно. Пир стал казаться совершенно скучным по сравнению с тем, что вырывал движениями смычка из самой моей души Тесей. Было уже не так важно, что есть, и что пить, и где спать. Отрешенность и аскетизм, резко противоречившие духу начала вечера захватили многих, если не всех. Даже Медея отставила блюдо с фруктами. Она думала о чем-то своем.

Я знала, что и они ощущают нечто подобное. Быть может, искусство, красота, облегчали их вечный голод.

Если подумать искусство ведь есть форма протеста против естества. Искусство заставляет отрешиться от физических ощущений, от бытовых задач и проблем, от жизни в пределах только тела вообще. Ради искусства умирают, что является, по сути, прощанием с главным из инстинктов. Высокая поэзия заключалась в том, что существа, обретшие разум, должны, в конце концов, обрести альтернативу животному существованию.

И, без сомнения, наша, человеческая сила в этом деле была велика. Мне казалось, что они поражены сейчас Тесеем куда больше, чем самый впечатлительный из нас. Даже воздух чувствовался застывшим, жутким в своем бездействии. Где-то здесь была Первая, и я видела, что Неоптолем смотрит куда-то высоко, поверх всех голов. На его губах была блуждающая, странная улыбка.

Что за глупости, подумала я, и почему он кинул апельсиновую корку?

Затем, потихоньку, люди начали расходиться. Сначала я слышала шепот, прошедшийся по залу, как волна, и сразу начался отлив. Кто-то, кому-то сказал, что можно уходить, и это было большим облегчением. Всем хотелось побыть наедине со своими мыслями, и прощание было скомканным. Люди уходили от Тесея, наполненные так сильно, что казались усталыми. Мне тоже было тяжело нести все, что я приобрела. Медея широко зевнула и сказала:

— Музыка прям...ну, вау!

Я кивнула. Тесей пожимал руки людям вокруг, недовольный, наверное, столь скудной их реакцией. Он и не понимал, как она глубока. На лице Тесея было капризное, детское выражение. Он выглядел просто чудо каким хорошеньким!

На обратном пути Медея без конца зевала, утомленная впечатлениями, а Гектор шел чуть позади, словно все еще раздумывал о тех чашах вина, возле которых простоял все время.

— А мы пойдем на Биеннале? — спросила Медея. Я кивнула, а потом чуть отстала, дождалась Гектора. Он сказал:

— Представляешь, апельсиновая корка! Надо же придумать такую дурость!

— Я тоже так подумала, — сказала я. — А теперь мне кажется, что это не так уж глупо. Южные бандиты, мафия, присылали апельсиновые косточки тем, кого собирались убить. А

апельсиновые корки полностью противоположны косточкам. С такой точки зрения, это забавно.

Я засмеялась. Гектор сказал:

— Не вижу ничего забавного.

Я догнала Медею и сказала:

— Только зайдем домой, хорошо?

А дома, пока Гектор расхаживал по комнате, невероятно нервный, а Медея ела апельсин, я сушила на каминном корку. В конце концов, я отдала ее Гектору.

— Пойдем? — спросила я.

— Не думаю, что меня хотят там видеть, — ответил он. Вид у Гектора был обиженный. Медея закатила глаза, так что почти одни белки остались. Я сказала:

— Не знаю, кто как, а я очень хочу, чтобы ты был там.

Он заворчал, но, когда мы собрались, вышел с нами. А я все думала, что с Гектором это просто. А как насчет Одиссея? В голове у меня все еще крутился сад и его умирающие цветы, незаметно они превратились в расцветшие на острых стеблях сердца и легкие.

Я подумала, что раз Одиссей убивает других людей, как считать его человеком, таким же любимым, как и все другие? Было очень тяжело даже размышлять об этом, но в то же время необходимо. Я знала, что сегодня он не появится на Биеннале (скорее всего), потому что здесь Одиссея еще никто не знает. Однако, дело было не в этом. Я хотела понять, как должна относиться к тому, кто причиняет другим людям невероятную боль. Я отвыкла от этого знания. Я много читала о войнах и преступлениях старых времен, и слышала о том, что происходит на Свалке, но Орфей говорил, что люди все равно становятся лучше.

Мне казалось, что если допустить существование такого, как Одиссей, то сломается вся моя стройная система, где существуют они, а так же существуем мы, и все просто перестанут быть. Как прихлопнуть муху на столе — вот существо было цельное, а вот просто авангардная клякса на скатерти.

Если Одиссей был частью "мы", большого и прекрасного, почему он тогда убивал нас, а если он был их частью, отчего же в нем не было ничего от космических бездн и далеких звезд? Должен был быть ответ. И хотя Орфей говорил, что все в мире настолько сложно, что даже математика не имеет всех ответов, я считала, что люди привыкли усложнять. Сложное кажется красивее простого, а хаос впечатляет больше порядка. Хотя Орфей, к примеру, очень боялся хаоса. Он мне говорил: я хочу быть машиной.

Тогда я написала ему алгоритм, и Тесей решил, что тоже хочет быть машиной, автоматом с газировкой, красивым и блестящим, без проблем и антидепрессантов.

Так вот, всем им жизнь казалось очень сложной, поэтому они спали с таблетками и вставали с таблетками. Я старалась стоять на другой позиции, а теперь она казалась мне шаткой.

Медея сказала:

— Мы что, спускаемся вниз?

— А? Да. Биеннале проходит в подсобных помещениях.

Самый последний рубеж, заходить дальше нам было нельзя.

Мы вошли в лифт, и Гектор сказал:

— Нет, представь только, что они выдумали. Зачем спускаться вниз, если ты уже наверху?

— Ты увидишь, — сказала я и немного обругала себя за то, что прежде его не звала.

Мои мысли снова ускользнули от Гектора к Одиссею, но я знала, что ответ именно в Гекторе. Я смотрела на него пристально, он даже спросил:

— Что?

Я покачала головой. Вот, к примеру, Гектор. Он — человек, который мне нравится. Он — брюзга и ворчун, срывает чужие планы, добровольно служит нашим хозяевам, предан Сто Одиннадцатому, потому что когда-то Сто Одиннадцатый спас Гектора. Вот именно!

— Точно! — сказала я, и обняла Гектора. Лифт остановился, и Гектор мягко отстранил меня от себя.

— С тобой все в порядке Эвридика?

— Более чем! Я решила очень сложную задачу!

Гектор вздохнул и погладил меня по голове, у него был снисходительный, самодовольный, раздражающий вид, но я любила его. Тесей мог быть ужасно бесчувственным и поверхностным, как красивенькая машина, которой он мечтал стать, но я тоже любила его. Потому что нельзя было сказать, что кто-то из них — не человек. Каждый из них даже в своих не самых приятных качествах руководствовался тем, что можно назвать добром. Кто-то из очень мудрых людей (наверное, с Востока, но я точно не помнила) говорил о том, что зло само по себе невозможно в принципе, даже самые злые люди несут в себе крупицу внутреннего, потенциального добра хотя бы потому, что они последовательны, преданы своему делу и верят в то, что творят.

Гектор был предан тому, кто спас его, и это было добро, Тесей верил в то, что делает, и это тоже было добро. Нельзя было помыслить человека, которому недоступно мыслить этически, в возвышенных, прекрасных категориях, даже если все остальное в нем было чудовищно искажено.

И я подумала: только что я ведь едва не оступилась самым фатальным образом, почти отказалась считать человека — человеком. Но Одиссей, сколь бы чудовищные вещи он ни совершал, должен был быть понят мной именно в человеческих терминах.

Потому что иначе я совершила бы его же ошибку, отказала бы кому-то живому, разумному и похожему на меня в праве быть таким же, как я. Я улыбалась и кружилась на месте. Медея предложила мне нюхательную соль.

— Зачем? — спросила я.

— Мы, подростки, считаем, что хорошее настроение — это болезнь.

Нижние этажи не несли в себе ничего красивого. Это были коридоры безо всяких птиц, зверей и рыб, неба тоже не было. Только белые стены и множество кабинетов. У всего была утилитарная цель, все было так просто, что даже противопожарные датчики казались украшениями. Такие круглые, красные крошки! Медея сказала:

— Довольно безрадостно.

— Держу пари, тебе такое нравится, — пробормотал Гектор. Я остановилась перед одной из неприметных дверей.

— Что? Мы уже пришли, или ты видишь галлюцинации?

— Я не галлюцинирую, — сказала я и нажала на ручку двери, но на секунду я усомнилась в себе, потому как дверь открылась прежде, чем я довела дело до конца. На пороге стоял Неоптолем. На нем были очки, одна линза была алой, другая — сиреневой. Он приспустил их, посмотрел на нас.

— Девочка может проходить, — сказал он, и Медея прошмыгнула внутрь под его рукой. Палец с перстнем, украшенным рубином, уткнулся мне между ключиц.

— А вас я попрошу объясниться!

Я заметила, что полоска на черном костюме Неоптолема была красной, поэтому он был словно картинка в телевизоре, когда связь вдруг испортилась. Есть такие очень характерные помехи, пускающие сквозь изображение красные нити, и Неоптолем был словно наполнен ими. На его ногах были деревянные башмаки. Выглядели они так же плохо, как, наверное, ощущались.

— Я привела Гектора, — ответила я и попыталась пройти, решив, что в достаточной степени объяснилась. Неоптолем, однако, так не считал.

— Да, — сказал он. — И почему предатель здесь?

— Я могу уйти, — ответил Гектор, но я приложила палец к его губам и сказала:

— Я объясню. На самом деле я придумала это только в лифте. И случайно. То есть, я совершенно не об этом думала. Я не знала, что ты будешь так зол. Но я могу рассказать.

— Мне нравится ход твоих мыслей. Я его не понимаю.

Он впустил внутрь меня, а затем и Гектора. Прежде это была бойлерная, однако она не функционировала в этом качестве уже лет пять. Между пустых, громоздких цистерн сидели люди и лежали люди. Биеннале отличалась от жизни тем, что правил в ней не было. Никаких мест, аплодисментов и необходимых слов. Помещение было чистое, но полумрак, цистерны и трубы придавали ему мрачный, неухоженный вид. На трубах, сходство которых со скелетом страшного несуществующего зверя было для меня очевидным, висели картины. Никакого порядка не было, каждый вешал свое произведение, где хотел. И рисовал каждый то, что хотел. Основной материал, конечно, поставлял Неоптолем. Он отличался невероятной продуктивностью.

Я усадила Медею на ближайшее полотенце, а мы с Гектором облокотились на одну из цистерн. С картины рядом на меня смотрела раскрывшая пасть фотографически реалистичная змея. Казалось, сейчас она вырвется из бумаги и хорошенько вгрызется мне в щеку. Я была уверена, что Неоптолем специально повесил ее на этом уровне. Рядом был большой белый лист, по которому путешествовали точки муравьев, затем полотно, испещренное нервными линиями, похожими на десяток кардиограмм, закативших шумную, разноцветную вечеринку. Были пятна краски, были отвратительные, похожие на гримасы африканских масок, лица. Был лист бумаги с наклеенным на ним полиэтиленом, под которым проглядывало что-то жирное, похожее на вазелин.

Неоптолем и его соратники занимались авангардом в его бесконечно разнообразных формах, они отталкивали и притягивали, и снова отталкивали, это было эмоциональное искусство, искусство поиска. Подчас в нем не было ничего красивого, и, казалось, будто оно теряет свою ценность.

Неоптолем переступил через Ореста, который разлегся прямо в проходе, достал из кармана фонарик, подсветил свое лицо, словно решил рассказать страшную историю, и спросил:

— Кто-нибудь хочет высказаться?

Тесей поднял руку, и Неоптолем направил луч фонарика на него. Я приложила руку к губам, чтобы не засмеяться. Все это было так по-детски, но этого Неоптолем и хотел. Биеннале, может быть, не имела культурной ценности, потому как мы жили в пустую эпоху, уже четыре тысячи лет все было примерно одинаково, и перспективы перемен не открывались, однако было хорошо собраться вместе. Я чувствовала, что мы принадлежим к чему-то единому, очень-очень ценному для каждого здесь. Поэтому, в конце концов, я

хотела привести сюда Гектора. Я видела, что люди смотрят на него, хмурятся, но я знала, что они его не выгонят.

Тесей сказал:

— На коробке с хлопьями мишки нарисованы лучше!

— Спасибо! — искреннее сказал Неоптолем.

— Полная бессмыслица, — сказала Артемида и захлопала в ладоши, когда Неоптолем осветил ее лицо.

Гектор прошептал:

— Почему они его ругают, а он радуется?

— Потому что его цель, — ответила я. — Создать анти-искусство. Не-искусство. Полный ноль.

Гектор ничего не ответил.

— Новичок? — спросил Неоптолем. Гектор открыл было рот, но луч фонарика упал на Полиника, питомца Семьсот Пятнадцатой, Принцессы. Полиник подергал пряди своих кудрявых волос, словно бы пытался нащупать что-нибудь, что включит его. Наконец, он сказал, и голос у него был невнятный, с оттяжкой, словно он думал над словом в процессе его произнесения, и одновременно его донимал насморк.

— Ну, я даже не знаю.

Его белая рубашка под фраком придавала ему какой-то призрачный вид.

— Вообще все ужасно, — сказал Полиник, наконец. — Но вот где жирные пятна на ватмане, это прямо совсем плохо. Даже отвратительно. И где размазанные желтые подтеки тоже не очень.

Все заплодировали, и я тоже.

— Ужасный комментарий! — крикнула Медея. — Я права? Я правильно все поняла?

Я кивнула ей.

— Да, — сказал Неоптолем, поправив очки. — Действительно, комментарий ужасен, и мне это нравится.

Затем посыпались еще замечания, кусок полиэтилена, покрытый вазелином, никому мил не был. Орест запрокинул голову, посмотрев на меня. Я помахала ему рукой. Он прошептал:

— Узнал про этого Полиника, что Семьсот Пятнадцатая сожрала его подругу детства. Может, вам стоит поговорить об этом?

Я увидела, что Орест был чудовищно пьян. Причина пришла ко мне через пару минут, когда кто-то вручил мне бутылку с джином, она явно курсировала здесь не в одиночестве. Мне не нравился вкус алкоголя, и я, обходя Медею, передала бутылку Гектору.

Я решила подобраться к Полинику поближе, и, чтобы сделать это незаметно, я прошлась по бойлерной, не слишком ловко огибая цистерны и людей. Картин было много. Теперь, когда я видела их все, тематика была мне понятна. Неоптолем пытался вызвать отвращение. Змея, целящаяся в лицо зрителю, маленькие насекомые, текстуры и подтеки, беспокойные формы — все было призвано вызвать не то чтобы брезгливость, а именно инстинктивное отторжение.

Я увидела довольно детальную зарисовку мусорной кучи, фистулы с сиянием сукровицы и нитями, словно на холсте был не рисунок, а настоящая рана, невероятно подробную графику стадий потрошения свиньи, гниющий банан, приклеенный к листу бумаги. Что-то вызывало у меня отвращение, что-то не оставляло никаких чувств.

Тема была мне абсолютно ясна, и я знала, каким образом Неоптолем мог бы добиться своей цели. Только вот он никогда не показывал эти картины.

Когда шум немного стих, я как раз подобралась к Полинику. Мне действительно хотелось обсудить с ним все, но не потому, что я считала, будто мы чем-то похожи, просто я могла знать что-то, что пригодится ему, и наоборот. Странно, подумала я, Полиника уже пригласили, а Одиссея — нет. Наверное, слухи действительно быстро разошлись. Полиник сидел, как надгробный памятник, будто бы в скорбных думах, рука его касалась лба, а глаза были прикрыты. Я уже хотела с ним поздороваться и спросить, все ли в порядке, как Неоптолем выкрикнул:

— А теперь небольшой комментарий!

Я подняла на него взгляд. Неоптолем скинул свои ботинки, забрался на цистерну и теперь расхаживал по ней, как акробат. Он бы довольно ловким для человека, который едва ли видит что-то в полумраке и цветных очках. С них он и начал.

— Сегодня я в очках, друзья и соратники! Как считаете, почему?

Орест поднял руку.

— Да, кобель?

— Потому что ты — идиот.

— Нет, кобель! Потому что я хочу, чтобы у меня болела голова от того, что я вижу! Я хочу, чтобы меня тошнило! Чтобы я видел все здесь еще более отвратительным!

— Это сложно, — сказала Артемида. Голос ее, тем не менее, был наполнен энтузиазмом, словно она считала, что все-таки можно. Неоптолем выхватил у кого-то бутылку, едва не свалившись с цистерны, и сделал большой глоток, запрокинув голову, как в рекламе. Тесей широко зевнул.

— Только давай быстрее, ладно?

— Нет, быстрее не будет! Я буду тянуть до конца! Потому что сегодня я не хочу, чтобы вы ушли отсюда довольными!

Я расстроилась. В конце концов, мне хотелось привести Гектора и Медею, чтобы они увидели, как здорово может быть на Биеннале.

— Да, — сказал Тесей. — Все очень плохо. Я уже побрызгал твою вонючую шкурку от банана освежителем дыхания.

— Ты — плохой человек, — сказал Неоптолем и, без перехода, продолжил. — Собственно, как вы понимаете, наша цель — очистить искусство, по крайней мере живопись, с которой они начали колонизацию человеческой культуры, от всего, что им нравится! Я хочу, чтобы новая культура не имела смысла для них! Я хочу вернуть нам наш язык, который понимаем только мы! С этого начнется революция, которая произойдет... через тысячу лет и не слишком понятно, каким образом!

Все расстроились. Орест сказал:

— Расходимся.

— А я сразу и сказал, что Неоптолем ничего полезного не скажет.

— Как только я увидела шкурку от банана, я поняла, что делать здесь нечего.

Неоптолем раскинул руки и завопил:

— Да! Ненавидьте меня! Ненавидьте всеми силами.

— Никто тебя не ненавидит, — сказала я. — Но не кричи, здесь душно, и у всех быстро заболит голова.

— Как вы не понимаете! — воскликнул Неоптолем. — Нам нужно подойти к искусству

с новой стороны, как к источнику того, что не нравится им, источнику страданий, отвращения, к тому, что пробуждает не только возвышенное, но и низменное! Порнография — это искусство, господи!

— Это не новость, — сказал Орест. Остальные засмеялись. Но Неоптолем, кажется, был доволен реакцией.

— Так вот, понимаете, что мы упустили, почему Биеннале — бессмыслица?

— Потому что так и задумано? — спросила Артемида.

— Потому что есть среди них те, кому авангард близок, есть среди них и те, кто назовет искусством точку на бумаге! Их вкусы так же неповторимы как наши! Так вот, нам нужно создать анти-искусство не новаторскими методами, но обновленным посылом! Нас спасет нечто неприятное нам самим.

Я подняла руку.

— Да, Эвридика?

Неоптолем тут же переключился, теперь он говорил без лихорадочности, спросил меня, словно лектор примерную студентку.

— Сегодня мне сказали, что питомец Первой — серийный убийца. Ей нравилось, как он сшивал органы. Большинству людей это показалось бы отвратительным. Может быть, мы двигаемся не туда?

— Помолчи, Эвридика.

— Хорошо.

Неоптолем еще что-то говорил, но раз он сказал мне помолчать, я его больше не слушала. Люди отвечали ему, смеялись, над ним и вместе с ним. В конце концов, я услышала, что Гектор говорит:

— Неоптолем, а как насчет сделать открытую выставку? Быть может, они, увидев эти творения, в панике сбегут с нашей планеты?

Шутка была простая и даже наивная, но люди вокруг засмеялись, и я увидела, что Гектор улыбается. Мне стало приятно, ведь он почувствовал то же, что и я. Это прекрасное ощущение, что у тебя есть большая, какая-то бесконечная и очень теплая семья.

Гектор продолжил:

— Как насчет чуть изменить концепцию? Ты мог бы показать им то, что показывал нам, а для нас приберечь их портреты...

Не успел Гектор закончить, как все замолчали. Неоптолем резко сказал:

— Нет!

Медя вздохнула, и мне показалось, что она сделала это оглушительно громко. Неоптолем выкрикнул:

— Эвридика!

— Да?

— Ты, кажется, обещала рассказать, почему ты его привела.

Неоптолем спрыгнул с цистерны, сел на пол в проходе.

— Эй, ты загораживаешь мне девушку! — Орест пнул его ногой, но Неоптолем не обратил никакого внимания. Вид у него был крайне обиженный.

— Если ты не помнишь, Эвридика, он — предатель.

Я прошлась впереди всех, по крохотной полоске пространства, играющей у нас роль сцены. Взгляд мой уперся в вазелиновые пятна на полиэтилене.

— Фу, — сказала я. — И вправду очень противно.

Гектор стоял, опустив взгляд в пол. Люди передавали друг другу бутылки, пили, смотрели на меня. Я сказала:

— Знаете, сегодня, когда я собиралась на Биеннале, мне показалось, что нам не хватает чего-то важного. Кого-то важного. Сознание, которое мы собираемся воспитать здесь, должно касаться не только эстетики, но и этики. Мы не продвинемся, создавая искусство без любви и принятия. Потому что это — наша сильная сторона. То, что отличает нас от них лежит не в плоскости, которую можно создать кистью, словом или созвучием нот. Мы — люди, а значит фундаментально похожи. Если мы отвергаем кого-то, даже того, кто кажется нам плохим и недостойным, это значит, что мы принимаем абсурдную точку зрения о том, что этот человек недостойн быть с нами, другими людьми. Это очень опасно всегда, но еще опаснее в наше с вами время, в пустое время. Я тоже не одобряю того, что делает Гектор. Но сейчас, здесь, он не представляет ни для кого опасности. И его не нужно прощать. Просто было бы здорово, если бы он мог быть с нами. Потому что мы, это больше, чем просто люди, сидящие здесь, в комнате. Мы — это все люди, которые были когда-то на этой Земле, на нашей Земле. И палачи, и жертвы. Ужасно, наверное, идентифицировать себя с самыми чудовищными преступниками в истории, но у нас больше общего с ними, чем с кем-либо из тех, кто пришел сюда издалека и забрал у нас все. Поэтому принять сегодня Гектора значит не простить его, но понять. Потому что понять мы можем. И это искусство, которого они не знают.

Я выдохнула, виски у меня были мокрыми, кровь билась везде, особенно в языке, так что я удивилась, как вообще умудрилась говорить. До этой секунды волнение вовсе не ощущалось. Я любила говорить, любила, когда меня слушали, и мне было радостно ощущать, что мои слова достигли цели. Мне захлопали, но я смотрела в пол, только махала рукой, показывая, что мне все нравится.

— Неплохо, — сказал Неоптолем. — Но недостаточно бессмысленно.

— Совсем не бессмысленно! — крикнул Тесей. — Молодец, Эвридика!

Я встала рядом с Полиником. Он посмотрел на меня. Я понимала, что он не очень хочет что-то мне говорить, ему, однако, стало неловко.

— Хорошая речь, — сказал он быстро.

— Спасибо, — ответила я. — Я хорошо говорю. Но всему, что я люблю, меня научил мой брат, Орфей. Он очень хороший.

Полиник посмотрел на меня с какой-то затаенной тоской. У него были карамельно-карие глаза, как две грустные ириски. Я села рядом с ним, хотя в платье это было довольно неудобно (и неуместно).

— Тебя Орест пригласил? — спросила я.

— Да, — ответил Полиник. Мне захотелось просунуть палец в одну из завитушек его волос.

Я сказала:

— Ты у нас не очень надолго, да?

— Я везде не очень надолго.

— Ты жалеешь об этом?

Он пожал плечами. Мне показалось, что сейчас он скажет что-то вроде "я обо всем жалею". Какой сказочно грустный молодой человек!

— Так вот, — сказала я. — Мой брат Орфей, который очень умный, он сейчас далеко. Мой хозяин, Сто Одиннадцатый, поглотил его. Иногда он пользуется телом Орфея, чтобы

слушать меня по вечерам.

Полиник поднял на меня взгляд. Он сказал:

— С Исменой случилось то же самое. Мы... мы с детства были знакомы. Я очень ее любил.

Он поймал мой взгляд и больше не отпускал его. Лицо его стало каким-то лихорадочно напряженным. Я подумала, что Полиник нечасто делится с людьми своим горем.

— Да, — сказала я. — Может быть, завтра я приду к тебе в гости? Мы могли бы это немного обсудить. Может, мы сможем помочь друг другу.

Я предпочитала быть честной, мне не казалось хорошей идеей хитрить или пытаться вызнать у него что-либо.

Я сказала:

— Мне очень жаль Исмену. Ты сможешь мне про нее рассказать.

Он кивнул.

— Да, да, я очень хочу про нее рассказать!

Полиник перешел на шепот.

— Главное, чтобы Семьсот Пятнадцатая не пришла. Приходи в двенадцать, в ячейку 73В.

Я кивнула. Мне показалось, что он сейчас заплачет, или его стошнит. Ему вправду было невероятно грустно. Я подумала, что у Полиника не осталось надежды, лучшего лекарства от всего (кроме того, от чего помогают все другие лекарства). Надо же, как ужасно покалечила его эта потеря.

Мне казалось, что я держусь много лучше.

Мы просидели рядом еще минут пять, но Полиник больше ничего не говорил, и вскоре меня забрал Тесей, чтобы мы еще поболтали. Я ушла, когда часы показали три ночи. У меня оставался еще час, чтобы почитать Сто Одиннадцатому. Медея сказала:

— Так я останусь?

— Да, — ответила я. — Останешься, я постелю тебе в гостиной.

Она широко зевала и выглядела очень маленькой. Я знала, что Медея останется здесь не зря. Еще один день в Зоосаду — это день, который Медея в любом случае переживет. Гектор вышел вслед за нами, он раскраснелся, но я не понимала, от недовольства или наоборот.

— И кем ты меня выставила? — спросил он.

— Гектором, — ответила я. — Тебе не понравилось быть Гектором?

— Эвридика!

Гектор замолчал, увидев, что я не реагирую на его негодование, а затем сказал:

— Но в любом случае было...не совсем плохо, пожалуй. Не ужасно.

— Это хорошо, — ответила я.

— Да он пьяный, — сказала Медея. — Ему, кажется, отлично.

— Нет, — сказал Гектор. — Это не так.

Он с самым независимым видом ушел вперед. Я обернулась. У двери стоял Неоптолем. Он смотрел на меня сквозь стекла своих разноцветных очков. Я сказала:

— Спасибо за вечер! Искусство почти деколонизированно!

Он помахал мне рукой.

— Презентую тебе в подарок картину из вазелина!

Я не очень-то обрадовалась, но вежливо сказала:

— Спасибо.

Настроение у меня было чудесное. Если я буду не одна, а с Полиником, у нас будет в два раза больше шансов вернуть тебя, Орфей.

К тому времени, как я уложила Медею спать, мне стало дурно. После путешествия на нижние этажи, куда проникала смерть снаружи, такое иногда бывало. Медея же, не изнеженная воздухом Зоосада, даже в самых бедных его уголках, заснула быстро и спокойно. Она глубоко дышала, словно хотела напиться прохладным, чистым воздухом высоты.

Я почувствовала себя так, словно у меня поднялась температура, голова стала тяжелой, а язык — горячим. Я присела на диван рядом с Медеей и закрыла глаза. Под веками было красно и беспокойно. Бессонная ночь и легкое отравление смертью сделали меня рассеянной. Можно было выбрать и другое место для нашей Биеннале, повыше, почище. Но никто не хотел этого. Причины было две: во-первых нам хотелось ощутить опасность, потому что это значило, в конце концов, ощутить реальность. Было нечто за пределами Зоосада, где нас выставляли, как экспонаты, оно было страшным и приносило боль, но оно существовало. Во-вторых, конечно, даже тем, кто говорил, будто бы не думает о Свалке вовсе, всегда было немного стыдно. В прежние времена страны третьего мира не вторгались к тебе на порог, и каждый день не начинался с лицемерия тех, кому повезло меньше.

А мы могли причаститься к их бедам, надеждам и чаяниям, хотя бы на одну пятнадцатую часть.

Медея бы этого не поняла. Орфей говорил, что чувство вины правящих классов — признак распада культуры. Но мы не правили, и власти, строго говоря, не имели. Все изменилось, и теперь нужно было смотреть на вещи так, словно мы никогда прежде не видели их.

Когда Орфей говорил, что хочет стать машиной, он, наверное, отчасти имел в виду именно это.

В черепе плавал туман, мне захотелось прилечь, но я знала, что скоро придет Сто Одиннадцатый. Кроме того, вряд ли у меня получится провалиться в сон. Я предчувствовала одну из тех ночей, когда попытки уснуть похожи на старания просунуть голову сквозь игольное ушко.

Я зашла в комнату, где пахло лавандой, и воздух казался до озноба холодным. Сев на кровать, я закрыла глаза и стала стала глубоко и мерно дышать, а затем упала на спину, словно сделала шаг с крыши. На потолке плясали тени, показавшиеся мне перистыми, как облака и пористыми, как пчелиные соты. Я не знала, сколько времени прошло прежде, чем я услышала стук в дверь.

Ровно два раза, тук-тук. Ни один человек не стал бы так стучаться. Все мы следуем сотням незаметных правил, нарушить которые у нас не возникнет и мысли. Именно отсутствие чего-то важного, безусловного знания, было в Сто Одиннадцатом, пожалуй, самым жутким.

Ощущение обжигающей неправильности было очевиднее всего в том, на что обычно я не обращала никакого внимания. Когда Сто Одиннадцатый вошел, я снова села на кровати. Движения его были рассинхронизированными, я никогда не видела Орфея таким, даже когда он был мертвецки пьян. Сто Одиннадцатый подволакивал одну ногу, голова его была склонена вниз совершенно неудобным образом, а одно плечо казалось выше другого. Существо, только пытающееся быть человеком. И не слишком успешно.

— Эвридика, — сказал он. — Здравствуй, Эвридика.

Он не садился в кресло, стоял передо мной, и его светлые глаза казались блестящими в темноте. Было видно, что взгляд его совершенно бессмысленен. Он чуть-чуть приоткрыл рот, и я увидела зубы, похожие по цвету на жемчужины у меня на шее.

— Неправда. Нет. Дурная. Дурно.

— Немного, — ответила я. И хотя Сто Одиннадцатый говорил лучше всех из тварей, которых я знала, речь его всегда была перекореженной, разорванной, надломленной. Когда я была маленькой, и Сто Одиннадцатый смотрел, как я играю, он говорил:

— Эвридика не знает, Эвридика не думает.

Это значило, что я очень увлечена. Я вспомнила свое детство — множество игрушек и невидимый кто-то, наблюдающий за мной. Достав тетрадь, я начала читать ему. Сто Одиннадцатый стоял на месте, словно его выключили. Он ждал, и мне захотелось спрятаться.

Меня затошнило от неправильности происходящего. Мой Орфей не должен был быть таким, не мог быть таким. Пусть вместо него был кто-то невидимый, не-человек, но черты Орфея не могли быть так искажены его гримасами.

Я читала, но голос у меня срывался.

— Прекрати, — сказал вдруг Сто Одиннадцатый. Он прервал меня на полуслове. Я подняла на него взгляд, и он добавил:

— Пронзительно, прекрати. Плохая.

— Я плохо себя чувствую.

— Значит — плохая.

Сто Одиннадцатый смотрел на меня так внимательно, словно у меня внутри было нечто, что он видел очень ясно, однако меня саму не мог рассмотреть вовсе.

— Оставь его мне, — прошептала вдруг я. — Хоть на одну ночь. Я просто хочу побыть с ним рядом, как в детстве.

— Подвергаешь опасности. Зачем поступаешь так? Не беспокоишься?

У него была не слишком внятная речь, словно бы в горле что-то потрескивало.

— Я хочу пойти и принять ванную, — сказала я. Я встала, подошла к окну и выглянула в небо, такое яркое, когда комната погрузилась во мрак. У него был синевато-фиолетовый оттенок — молодая гематома. Я почувствовала, как расстегиваются пуговицы на моем платье, и как распускаются тесемки на моем корсете. Орфей стоял далеко от меня, больше чем за метр, но я чувствовала прикосновения того, кому принадлежит его тело. Воздух хлынул в легкие неожиданно сильным потоком. Я почувствовала, что теряю сознание, но, стоило мне начать падать, и меня удержали. Волны и пульсации в голове становились все заметнее, я запрокинула голову. Орфей стоял так далеко, но Сто Одиннадцатый держал меня. Я посмотрела в светлые глаза Орфея и вспомнила, как он качал меня на качелях, и как говорил, что я никогда не упаду, пока он рядом.

Я и не упала. Сто Одиннадцатый сказал:

— Хочу, чтобы не делала то, что опасно.

Меня так бесконечно удивляло, что они не используют ни местоимений, ни имен. Все, что должно было выделить их, дать им индивидуальность и осознание себя, в их языке просто не существовало. Мне хотелось сказать, что мы обязательно победим. Хотя бы поэтому. Но я молчала. Я смотрела на Сто Одиннадцатого, запрокинув голову, и Орфей был для меня перевернут. Мой братик — гений, желающий стать машиной. Даже глаза его казались никелированными.

Его желание, если так подумать, исполнилось. Сто Одиннадцатый вернул мое тело в естественное положение. Я скинула платье и корсет, оставшись в нижней рубашке и юбке, прошла в ванную и долго лежала в быстро остывающей воде. За стеной, из моей комнаты, ни доносилось ни единого звука. Я не знала, ушел Сто Одиннадцатый или нет. Он и его собраты вели себя, как мертвецы в наших историях и преданиях. В них была одинаковая отчужденность, искаженность, неправильность, они в равной степени с мертвецами представляли собой мир за границей, то место, где привычные законы не действуют.

Их неловкость в управлении человеческими телами, холод и страшные, бессмысленные взгляды словно были взяты прямо из легенд о тех, кто приходит, когда не должен (и когда ничего уже не осталось).

Мы больше не хоронили своих мертвых, теперь от них оставался лишь пепел. Мертвецов под землей заменили наши хозяева над землей. Я погрузилась под воду и открыла глаза. Было больно и не то чтобы слишком интересно — мир превратился в цвета, размазанные по водяной мембране.

Орфей сказал, ровно перед тем, как я потеряла его, что ему больше не страшно. Я видела, что он силен и мудр, почти непобедим. Он был похож на рыцаря в блестящем доспехе, и как же ему не хватало меча.

С тех пор Орфей приходил ко мне по ночам, и я пыталась увидеть в нем хоть что-то. Наверное, то же самое делал и Полиник. Я вспомнила его лицо, усталое, изможденное, с темными синяками под темными глазами. Мне захотелось выйти из ванной, потому что это воспоминание вызвало неприятный импульс. Мне хотелось помочь себе и Полинику, но у меня не было ни одного ответа.

Я оделась и вернулась в комнату. Орфей все еще был неподвижен и смотрел туда, где я больше не стояла. Я сказала:

— Оставь его мне, дай побыть с ним, и я обещаю, что не буду делать вовсе никаких опасных вещей! Прошу тебя, ты ведь знаешь, как я безумно скучаю!

— Не знаю, — ответил он. По крайней мере, Сто Одиннадцатый никогда не лгал. Он лег на кровать, едва не упав на пол в процессе этого недолгого пути. Я некоторое время стояла у двери, не решаясь подойти к Орфею. Я не думала, что Сто Одиннадцатый уйдет, но мне было важно сделать вид, будто он здесь ни при чем. Я даже хотела выйти и снова зайти. Но вместо этого несмело приблизилась к Орфею. Его грудь не поднималась, дыхания не было. Он лежал, словно вещь. Орфей, думала я, где теперь твои цифры и формулы, где твои страхи? Где же ты, Орфей?

Когда я шла к кровати, на пушистом, мягком ковре мне то и дело попадались вкрапления невероятного холода, так что я вся дрожала, когда добралась до него. Я залезла на кровать и крепко обняла его, как в детстве. Орфей пах чем-то чужим. Изморозь и что-то горькое, как старые ягоды в зимнем лесу. Прежде он пах чернилами и сладостями. Я уткнулась ему в шею, ощутив тень этого запаха и едва заметное сердцебиение. Он был жив. Сердце его отбивало удары реже, чем стоило бы, но оно было упрямо, и оно боролось. Я знаю, думала я, ты где-то там. Вот где твои формулы, вот где твои цифры, Орфей, и все забавные мелодии.

Я погладила его по голове. Он был живым на ощупь. В нем различалось едва заметное тепло, пальцы чувствовали пульс на его виске. Орфей говорил, что поглощая кого-то, они словно бы консервируют его. Он так и сказал: это очень страшно. У него внутри холода столько, что хватило бы на фургон мороженого. Я чувствовала: чуть теплый лоб, теплая

грудная клетка, холодный живот и щеки. Там, где было больше всего Сто Одиннадцатого, все наполнилось чуждой жизнью.

Я лежала рядом с Орфеем, прижавшись щекой к колыбели его сердца, и думала о том, что мое время может истечь. Однажды внутри него не останется тепла. Ведь не может же он вечно пребывать в стазисе. Когда-то Орфей был нелепым и уютным старшим братом, заучкой и рыцарем. Теперь он лежал передо мной и не имел вовсе никаких свойств. Я думала о том, каким он вернется. Сможет ли Сто Одиннадцатый не оставить на нем следов.

Их суть была распространением, они на всем оставляли отметки. Маленькие мальчики любят это делать, Орфей вырезал слова на деревьях. Там было: у человека есть минус два пути.

Что еще есть у человека? Что мы могли противопоставить темноте и холоду? За окном я услышала дождь, а затем и раскаты грома. Вспышка молнии осветила лицо Орфея, оно было пусто. Сто Одиннадцатый тоже молчал, но я чувствовала его — он был везде. Части его извивались, и мне казалось, что нет ни единого участка моего тела, которого он не касается. Движения были быстрые и отрывистые, как у насекомых. Части его тела не были ни мокрыми, ни сухими, но прекрасно скользили, я не знала, как описать это ощущение (хотя, казалось, в жизни я только и занимаюсь тем, что описываю ощущения). Они были длинные, гибкие и ребристые, словно трахеи или спинки сороконожки. Они терлись об меня, как ласковые звери, пока я обнимала своего Орфея.

Я знала, что они устроены сложно, но никак не могла представить, как именно выглядят эти существа. У них не должно было быть ничего общего ни с чем, присущим моему миру. Они появились на миллиард лет раньше на планете с принципиально иными условиями и развивались для того, чтобы стать идеальными захватчиками.

Безусловно, можно было сравнить их с насекомыми или осьминогами, или еще чем-то странным, мерзким и далеким от теплокровных, симпатичных существ. Но все это, безусловно, не открывало бы истинную суть Сто Одиннадцатого.

— Я бы хотела увидеть тебя.

— Да. Это смешно, потому что на самом деле боишься.

Он издал звук лишь отдаленно напоминающий смех.

— Я не боюсь, — сказала я. — Посмотри на меня, я не боюсь тебя, господин.

Глаза Орфея едва заметно двинулись.

— Опасно так думать. Что не боишься. Будешь делать дурные вещи, и все закончится плохо.

Язык его ворочался во рту не без труда. Я ощущала, как подергиваются в такт его словам все части Сто Одиннадцатого. Словно кардиограмма, которая говорит о том, что увидеть нельзя. Иногда мне казалось, что вспышки молнии озаряют копошащиеся тени.

— Сегодня я видела девушку, чье тело использовала Семьсот Пятнадцатая.

Взгляд Орфея не изменился, он никогда не менялся. Если Сто Одиннадцатый и ему подобные, выражали как-то удивление, я не могла этого понять.

— Видела, — согласился он.

— Мне сказали, что она использует его постоянно.

— Это страшно?

Он вдруг приподнялся на кровати и сказал:

— Идет дождь.

И я подумала, что все наши диалоги выглядят такими жутко бессмысленными.

— Не страшно, — сказала я. — Просто мне хотелось бы узнать, как это возможно. Она ведь фактически живет в этом теле.

— Не знаю, зачем.

Я внимательно смотрела на Сто Одиннадцатого (вернее, конечно, на Орфея). Я знала, что их общество устроено по-другому. Королева имела власть над жизнью и смертью своих многочисленных детей, каждый из ее подданных, вышедший из ее тела, был верен ей инстинктивно, и это не имело ничего общего с человеческой лояльностью, что было одновременно хорошо и плохо. С одной стороны Сто Одиннадцатый не имел никаких идей личной преданности и не ощущал любви и привязанности к своей Королеве, так что мог говорить о ней спокойно и все, что угодно. С другой стороны он безусловно подчинялся ей, словно клетка в моем организме, получающая белковые команды, предопределяющие само ее существо.

У всего, в таком случае, было два исхода. Я приподнялась на кровати и почувствовала на своей спине странные, вечно подвижные щупальца. Они поползли по позвоночнику вверх быстрее мурашек.

Быть может, Сто Одиннадцатый пытался выразить что-нибудь важное, что проходило мимо меня.

— Я хочу понимать, что вы делаете с людьми. Я — человек.

— Иногда забываю об этом.

Руки у меня дрожали, когда я прикоснулась к нему. Казалось, пальцы мои должны были покрыться изморозью, но, несмотря на холод снаружи, внутри бушевал жар. Он гладил меня, словно животное. Таким образом я ласкала кошек и собак. Я ощущала себя необычайно чувствительной. Сто Одиннадцатый сказал:

— Чужие тела удобны. Это словно....одежда. Называете одеждой то, что носите. Потому что удобно. Приятно. Красиво.

— Одежда портится, — сказала я.

— Нет, если носите аккуратно. Но время портит все. Видел много времени.

— Но что насчет девушки? Она не платье и не украшение. У нее есть личность, память, чувства.

— В данный момент — нет.

Я помолчала. Он говорил очень спокойно, словно ничего на свете проще не было. Я не сразу поняла, что ответить. Но я должна была объяснить.

— Нет, меня интересует, что будет с ней после. Понимаешь, люди исходят из предположения, что каждое человеческое существо незаменимо, в нем содержится история, ни на чью не похожая. Даже наши самые кровавые убийцы и диктаторы принимают эту предпосылку. Каждый человек — это единица, главный герой собственной драмы. И поэтому мне интересно, что происходит с ее сознанием, когда она в таком состоянии.

— На самом деле спрашиваешь о брате.

Он помолчал, затем заставил меня перевернуться на спину, щупальца его обхватили мою голову, и как же легко он мог оторвать ее. Закончить мою историю, поставить точку там, где я всегда ставила многоточие.

— Знаешь, — сказал Сто Одиннадцатый. — До того, как прибыли сюда, не знали, что другие существа — разумны. Не было интересно, что представляют собой. Не волновало, что чувствуют. Разные, но не могу вспомнить. Сливаются в сознании, как после долгого дня. Не важно, что такое другие.

— Но важно, что такое вы? — спросила я. И он ответил так, как я вовсе не ожидала.

— Неважно, что такое все.

И я подумала, что он не был злым в нашем понимании, не исходил из отрицания чего-то доброго. Он не знал сам о себе чего-то важного. А может в нем этого и не было.

— Расскажи мне историю, — сказала я. — О вас, о ком угодно, о чем угодно.

Я положила голову ему на плечо, чтобы слышать биение сердца Орфея.

— Не понимаешь про мир, — сказал он. — Откуда пришли. Очень много. Мир, где нет разницы между живым и мертвым.

Я протянула руку и коснулась пальцами мышьяково-зеленой стены. Сначала она показалась мне твердой, затем пространство под моими пальцами легко поддалось, как если бы я, к примеру, надела на чей-то живот. Остов из металла, весь этот каркас, на котором держался Зоосад, и вправду был скелетом дома, потому что его оплетала плоть. И я поняла, что имеет в виду Сто Одиннадцатый, до последней буквы понял. Мир, откуда они пришли, не знает границы между живым и мертвым. Все сходилось, у предложения был смысл, и в нем можно было поставить точку. Люди, похожие на живых мертвецов, небоскребы, оплетенные плотью, бессмертие и смертный анабиоз, в котором они путешествовали по черным Галактикам. С чего я вообще решила, что жизнь в мире настолько ином, чем наш, будет иметь точно такие же границы со смертью? Холодная вечность живых мертвецов, бесконечных паразитов — вот что у них было.

И они превращали в свой мир все, к чему прикасались. Рано или поздно, Земля превратится в то же безрадостное, не живое и не мертвое место, откуда они пришли.

Вот что было настолько иного — с этим не сравнятся ни язык, который не равен речи, ни культура, которая не имеет никаких материальных артефактов, ни общество, в котором нет иных связей, кроме связи с великой матерью. У этих существ не было и не могло быть ни любви, ни искусства, ни желания производить потомство, ни языка, который хотелось бы зафиксировать.

Потому что они не знали смерти, и не знали разницы между живым и мертвым. Чище Адама и Евы в Эдемском саду. Я отдернула руку и на стене осталась вмятина, постепенно выравнивающаяся. Меня поразили контраст — комната начала двадцатого века, пастельно утонченная, строгая, и в то же время нежная, нечто столь модернистски-человеческое, что сложно представить себе, как можно это превзойти.

Но все было обернуто в плоть и очень страшно. Сто Одиннадцатый сказал:

— Там, где был до того, как попасть на Землю, ничего не осталось. Большие пустыни. Давай расскажу про большие пустыни.

Я кивнула. Пальцем я водила там, куда Орфей когда-то приложил мою руку, когда клялся, что никогда не покинет меня. Сто Одиннадцатый сказал:

— Были большие пустыни без цвета и формы. Такие огромные и серые, и глубокие, как Океаны, которые тут. Было их много, затем сплелись в одну. Песчинки были белые, черные, но большей частью серые. Смотрел на них много дней подряд, когда Первая произвела на свет.

— Ты был маленьким?

— Начал существовать, вещи были интересны. Песчинки и другое.

— А что другое?

— Забавные существа. Умирали, но смотрел. Не думал, что плохо или хорошо. Вещи.

Он помолчал, а затем добавил:

— Натюрморт.

Удивительно емкое понятие в данном случае. Затем Сто Одиннадцатый сказал:

— Тоже, наверное, думали, что неповторимы. Тоже единицы.

Я подумала, что он должен засмеяться надо мной, надо всей моей человеческой наивностью, но Сто Одиннадцатый не сделал этого. Я приподнялась. Он смотрел на меня, но глаза Орфея, его зрачки, не были сосредоточены на мне.

— Право сильного, — сказала я.

— Люди выдумали право сильного. И другие права. Как не понимаешь? Все, о чем рассуждаешь, знают люди. Не можешь понять, что не знают люди. Не осмысливают люди. Добрые, злые и сильные — тоже люди.

И я подумала, ведь правда, я жила с ним больше пятнадцати лет, и я все еще не знаю, каков он по характеру, что он любит, кроме красоты нашего языка, что для него важно. Я наблюдала за ним, и все же я не могла понять ничего о нем. Сколько мы узнаем друг о друге по выражению глаз, по поджатым губам или улыбке, по нервным подергиваниям пальцев и сменяющейся интонации. Как и со стуком, который должен быть троекратным, я не задумывалась об этом, пока не встретила кого-то, кто не знает, как это — улыбаться.

Я вспомнила Орфея. Он улыбался нечасто, такой серьезный, в детстве его называли маленьким ученым. Но когда он все же делал это, улыбки красивее не было на свете. Это первое, что я помню о мире — его улыбку. Тогда, с нее, я началась и больше не заканчивалась. Мы впервые увидели Нетронутое Море, и Орфей смотрел на воду, а я на него. Казалось, блеск, которым одарило поверхность моря солнце, отразился в его глазах и широкой, зубастой улыбке. Я сказала ему, что он мальчик с тюбика зубной пасты. Тогда мне больше всего нравились вещи, которые нам выдали в приюте, с красивыми картинками и такие чистые. Улыбка Орфея показалась мне одним из таких подарков, потому что обладала теми же свойствами.

Я прикоснулась к губам Орфея.

— Так что с той девушкой? — спросила я. — Она не повредит ее, если будет использовать часто?

— Не больше, чем если бы девушка использовала себя.

Я почувствовала, как его ответ пульсирует на пальцах.

— Даю надежду? — спросил он. Сто Одиннадцатый не издевался, но и не интересовался по-настоящему. Прикосновения его стали настойчивее, и я легла. Его невидимые щупальца толкались мне в ладони, словно так он смотрел на меня. Когда одно из щупалец скользнуло по моим губам, я подумала, что никогда не спрашивала, есть ли у них влечение. Говорили, что Принцесса выбирает одного из своих братьев, и, затем, совокупившись с ним, носит его многотысячное потомство еще несколько тысячелетий. Звучало так же отвратительно, как, собственно, дело и обстояло. Иногда Сто Одиннадцатый мог касаться чувствительных частей моего тела — губ, шеи, груди, ног, и это было личным, незащищенным пространством, но я не могла сказать, что это было неловко. Со мной не было никого, кто мог понять, что это значит. Ничто не имеет смысла, пока нет того, кто может его воспринять.

— Хочешь я тоже расскажу тебе историю? — спросила я. Он ответил:

— Хочу.

Сто Одиннадцатый никогда не кивал. Я увидела, как язык Орфея ворочается у него во рту, а затем сказала:

— Когда мне было восемь, и я разбила свою шкатулку, мне пришлось очень горько плакать. Знаешь, она была изумительная. Ты непременно оценил бы ее. По краям были четыре чудесных розы, трещина прошла по одной из них, а крышечка вовсе отвалилась. Там я хранила свои колечки, браслеты и ароматические кулоны. Знаешь, девичьи вещички, на которые можно любоваться часами. Человеческие дети любят вещи, потому что вещи заставляют их быть, показывают разницу между я и миром, учат любить мир. Как дети любят вещи, взрослые не умеют любить даже людей. Это сверхсильная привязанность к чему-то, что делает тебя — тобой. Шкатулка играла "Лунную сонату", а это безупречно тревожная музыка. С тех пор, как я услышала ее, я знала, что шкатулка однажды разобьется. Так вот, когда она разбилась, мне стало так тоскливо, словно часть меня ушла. Орфей сказал, что починить ее нельзя, и я еще сильнее разозлилась и расстроилась. Тогда он научил меня тому, что такое прощание. Мы похоронили шкатулку в саду, и я даже зачитала над ней некролог, а Орфей стоял с торжественным видом, и говорил, что мы будем помнить и скорбеть. Если задуматься, это было смешно и даже кошунственно, но так невероятно важно.

— Что-то хочешь сказать. Знаю. Два смысла — снаружи и внутри. Метафора.

— Я хочу сказать, что это больно — не суметь даже попрощаться.

— Хочешь, чтобы убил брата?

— Нет! — я сказала это очень быстро. — Хочу, чтобы ты дал мне попрощаться с ним. Потому что это невероятно важно. Ты даже не представляешь, насколько.

Я думала: пусть только скажет "да", и мы сбежим, пусть на Свалку, пусть, не зная, что мы будем делать дальше. Я и не представляла, как сильно испугала меня история Полиника. И как я боялась, что личность, память, острый ум Орфея исчезают, развеиваются, пока Сто Одиннадцатый лежит рядом со мной. Он молчал, и я испугалась за секунду прежде, чем гибкие щупальца обвили мои запястья.

Он не ответил ни да, ни нет, но я оказалась крепко и болезненно связанной. Абсурд заключался в том, что я не знала, зачем он делает это. Была возможность, что Сто Одиннадцатый лишь утешал меня. Было холодно, темно и невозможно пошевелиться, даже кончики моих пальцев оказались оплетены им. Орфей лежал, смотря в потолок, и мне казалось, что невидимая сила, связавшая меня, не имеет к нему ни малейшего отношения. Он так и не ответил мне, сказал совсем о другом:

— Люди не знают, что такое люди. Почему защищаешь?

— Нет, — сказала я, чувствуя, как щупальце его касается моей верхней губы. Я приоткрыла рот, на секунду впустила его и подумала, будет ли страшно, если я укушу его? Он говорил о подкожном жемчуге, быть может, он заменяет ему кровь, и в рот мне посыпятся блестящие-блестящие камни.

У него не было вкуса, я решила не сжимать зубы. Некоторое время это было добровольным решением, затем Сто Одиннадцатый разжал мне челюсти. И я подумала, что он изучает, как устроены мои зубы. Он мог бы выломать их, ведь зубы не нужны для того, чтобы писать письма к Орфею.

Но нужны, чтобы внятно и красиво говорить. Я была важна ему, и я не боялась. Он был, словно безвкусное мороженое, такой холодный. Наконец, его щупальце покинуло мой рот, и он сказал:

— Продолжи.

— Мы знаем, что мы такое. Очень хорошо чувствуем, — сказала я. — Это как будто сложно сформулировать, но это есть. И отчасти вы подарили нам возможность сказать, для

начала, что мы — не вы.

— Почему сложно?

— Потому, что мы думаем, что каждый человек ценен, и что все мы разные. Вы разные?

— Сто Одиннадцатый отличается от Сто Десятого и Сто Двенадцатого порядковым номером.

И я вспомнила, как мы купались, и Орфей вынырнул из воды, вид у него был счастливый и золотой. Он показал мне ракушку, чья спираль уходила в самую середину, такой замечательный был узор. Орфей сказал:

— Сто одиннадцатая! Ты представляешь, сто одиннадцатая! Три единицы!

Я не поняла, почему три единицы лучше, чем одна или две, или никаких единиц вовсе, но улыбнулась и плеснула в него водой. Он снова нырнул, чтобы избежать брызг (хотя сомнительный был способ, да и нападение сомнительное тоже). Под толщей освещенной солнцем воды я могла рассмотреть его силуэт. Он дернул меня за ногу, и все померкло. Под водой я вцепилась в него, и мне хотелось засмеяться, но я боялась захлебнуться. Теперь, когда Сто Одиннадцатый стягивал щупальцами мое тело, мне снова казалось, что я чувствую холод и толщу воды. Было почти приятно — особое напряжение ребенка в материнской утробе или взрослого в объятиях любовника. Затем Сто Одиннадцатый протянул мою руку, как руку марионетки, к ладони Орфея. Две куклы для существа, которое только учится играть. Он дал мне пошевелиться, и я сплела свои пальцы с пальцами Орфея. Странная связь между мной, моим братом и Сто Одиннадцатым, казалось, временно облегчала страх.

А затем он ушел и забрал с собой Орфея. Тело мое снова принадлежало только мне. Ночь заканчивалась, и небо покрылось тонким слоем светлой глазури. Я знала, что скоро оно начнет светиться. Пальцы затекли, и я потихоньку шевелила ими, пытаюсь вернуть чувствительность.

Никакой разницы между живым и мертвым. Полная бесчувственность. Чувствительность и бесчувственность. Чувственность. За всеми словами стояли идеи. Как ему, должно быть, тяжело было понимать слова.

У Орфея была идея о том, что нужно сделать. Он верил в то, что мы намного сильнее, чем бессмертные и могущественные существа, захватившие нас. Орфей говорил, что любовь, вера, знание и даже смерть должны стать нашими знаменами, потому что мы знаем, что это такое, а для них это все красивые слова. Как должно восхищаться то, что умереть не может, скоротечностью жизни, ее цветом и увяданием.

Что у нас есть такого, спрашивала я, чего нет у них? Орфей говорил: у нас есть заблудившиеся мореходы, руки, книги, пожарные, очки, песни, булочки с корицей, зубы, цифры, ненависть, шариковые ручки, утраты. И я спросила его: разве это не просто вещи, Орфей? Вещи и понятия. И он ответил мне: если мы поймем, что это не просто вещи, тогда все начнется. Все должно начаться внутри, в головах. Попробуй думать о мире, как об уравнении, ответ на которое и есть ты.

Я научилась, Орфей, теперь я всему научилась, но где же ты?

Стены были живы, в каком-то смысле. Снова уперевшись в стену рукой, я ощутила далекую дрожь, проходящую по ее волокнам.

Что мы утратили, и чего у нас избыток? Четыре тысячи лет, это очень много времени. Большинство империй не существуют так долго. Ни одна не существовала в неизменности. Как только тело мое расслабилось, я перевернулась, положила голову туда, где была голова Орфея. Не было и призрака его тепла. У всего есть причина, подумала я, и ты об этом знал.

Будь ты на моем месте, у тебя уже были бы все ответы, даже те, для которых еще не заданы вопросы.

Но я не буду грустить и бояться, как обещала тебе. Не буду плакать и обижаться на судьбу и смерть. Завтра я пойду к Полинику, и мы подумаем над этим вместе. Даже если никто не знает, как найти решение, я сумею.

Ты ведь всегда его находил.

За окном исчезали звезды, одна за одной, они оставались в прошлом. Бесчисленные точки на огромном небе. Где-то среди звезд, как чума, двигались они, искали себе новый мир, который можно заразить собой. Их было, должно быть, очень много, и всегда становилось больше.

Они не знали зла в человеческом смысле слова, они не крали, не убивали ради богатства и развлечения, не имели законов, потому что не имели преступлений (если только не считать Последнюю, совершившую по их меркам нечто исключительное). В этой цивилизации мертвецов было нечто неизмеримо трагическое.

Заблудившиеся мореходы, подумала я. Путь, как способ освоения пространства, который провалился. Если представить, что небо — это такое море, а наша планета всего лишь островок, качающийся в его безразличных волнах, они, в конце концов, никогда не приплывут домой. Миллиарды этих существ плывут сквозь тьму, чтобы столкнуться с чем-то, что закончится прежде, чем их жизнь.

Для людей, подумала я, всегда есть множество бесконечных вещей. В теории у всего есть предел, но, в конце концов, мир для большинства людей, которые родились и родятся на нашей планете, бесконечен, потому что переживет их. Вот почему они так любят искусство. Оно может пережить наш мир, и нас. И вот почему Сто Одиннадцатый так испугался, что Орфей, о ужас, разрежет какую-нибудь картину или разобьет статую.

Потому, что больше ничего вечного у них нет.

Хорошо быть смертными, думала я, хорошо умереть однажды, потому что это значит, что у нас будет время быть здесь, жить, любить, творить. В конце концов, смерть конструирует жизнь, без нее это просто существование. Даже если предположить, что я стала бы бессмертной, мне стоило бы поблагодарить смерть за всю человеческую культуру, сконструированную ей. Память, религия, искусство, добыча огня, медицина — все есть способы оттянуть смерть или удалить ее. Без нее нас бы не было.

Мысли были странные, не теплые, не делающие смерть менее страшной и не заставляющие меня отпустить Орфея.

И все же мне казалось, что я понимаю больше, чем раньше. О себе и обо всех, кого знаю. Я закрыла глаза, и мне вспомнились все события предыдущего дня. За стеной спала Медея, а еще через стену — Гектор. Здесь всюду, в этой вонзающейся в небо игле небоскреба, были люди, которых я люблю. Я надеялась, что завтра все они проснутся, и мне было страшно, что нет.

Однако теперь я знала, что мне нужно быть благодарной за то, кто я есть, этой ужасной возможности.

Орфей бы придумал для этого математическую метафору. Мой железный рыцарь со смешным, острым носом, испачканным чернилами. У меня были надежды на завтрашний день, как на день спасения. Я знала, что одной мне придется думать долго, очень долго.

Но для двоих нет ничего невозможного. Пусть даже никто больше, в целом мире, не будет нам помогать. Я смотрела Полинику в глаза и видела страсть, которой, казалось, ни у

кого еще не видела. Он был готов на все, он был такой драматический герой.

Я не была достаточно драматической, вот в чем была проблема. В сущности, я — комический персонаж. Если мир — это текст, то для того, чтобы действовать в трагедии, нужно действовать, как герой трагедии.

Я накрылась одеялом с головой и приготовилась быть эмоциональной, импульсивной и непокорной судьбе. Только что Сто Одиннадцатый брал мое тело, словно игрушку, делал с ним, что хотел, но у меня внутри вдруг все стало очень сильным и способным бороться. Нет уж, думала я, пусть не надеется на то, что Орфей для меня — шкатулка с безделушками, которую можно закопать и забыть.

Пусть лезет холодными щупальцами мне в рот, или забирает то, что я пишу, пусть приводит ко мне тело моего брата, пусть надевает на меня шляпки, пусть пугает меня одним своим присутствием.

Я останусь сильнее него, потому что знаю, за что борюсь.

Я чувствовала себя очень легкой, в груди развернулся радостный, радужный мир, в котором неважно, сколько у тебя силы, а важно, сколько решимости. Я думала о Полинике и об Орфее, и о Гекторе, о Медее и Тесее, пока все они не смешались, и мысли мои не ускользнули от людей к вещам. Я открыла свою шкатулку, казалось, давно забытую, и стала считать колечки.

Уже засыпая, я ощутила холодок, идущий по спине. Хотя под одеялом мне было тепло, странное ощущение чьего-то присутствия наполнило меня дрожью. Но это был только отголосок ужаса. Сто Одиннадцатый, или кто-то другой, был здесь, чтобы смотреть, как я сплю. Мне почти не было страшно, хотя я хотела, чтобы Орфей был здесь, со мной, и я могла бы обнять его и не бояться совсем.

Я проснулась оттого, что Гектор шумно собирался, он, видимо, пытался привлечь внимание Медеи. Наверное, она слишком крепко спала, чтобы проснуться вовремя и приготовить ему кофе. Он гремел банками, кашлял, топал, словом, делал все, чтобы указать Медее на неправильность и непрофессиональность ее поведения. Я почувствовала раздражение, поэтому не вышла к нему. Ну что ты за человек, подумала я, и перевернулась на другой бок. Через пятнадцать минут, когда его шаги затихли, я встала, приняла ванную и привела себя в порядок, оделась. Есть не хотелось, даже мысли о еде были как-то нестерпимо отвратительны на вкус. Я выпила чай со льдом, строя из себя аристократку, проснувшуюся в жаркий полдень, а затем отправилась к Полинику. Энтузиазма во мне было очень много, он искрился, как пузырьки в шампанском, и был такой же золотой и терпкий. Мне хотелось запеть. Медея еще спала, когда я вышла. Я решила ее не тревожить, только накрыла одеялом ее свесившуюся с дивана ногу. У нее был трогательный вид, и мне хотелось, чтобы она хорошенько выспалась, наелась и развлеклась в наше отсутствие. В конце концов, ребенок должен оставаться ребенком. В шестнадцать я только и делала, что читала книги и качалась на качелях. И я думала, что трачу время зря, совершенно не понимая ценности таких вложений.

Я много отдыхала и набиралась приятных впечатлений и воспоминаний, которые позволили мне не сломаться и не грустить, когда я сталкивалась с трудностями или горем. Я всегда могла перелистнуть свою жизнь, как старинный альбом, на пару страниц назад, и увидеть, что была молода, талантлива и счастлива.

Я вышла, поздоровалась со свободным небом и небом, наполненным птицами. С одной стороны их было много, там птиц держали в специально оборудованных садах для услаждения взора. С другой стороны небо было пустым и ясным, как моя голова сегодня утром. Никого там не было. Я прошла по мосту, раскинув руки, как канатоходец, и я так вжилась в роль, что ни разу не оступилась, идя по тонкой линии, разделяющей коридор напополам. Людей вокруг было мало, всегда мало. Я знала, что этажи инженеров разительно отличаются суетливостью и наполненностью. Художники по утрам, чаще всего, спали, днями творили, и только ночью можно было увидеть здесь некоторое оживление. Редкие машины проезжали по рельсам мимо, и тогда я чувствовала себя такой смелой оттого, что хожу по краю. В машинах, как игрушки в коробочках, были спрятаны путешественники. Иногда я пыталась их рассмотреть, а иногда думала о том, что скажу Полинику. Он жил в двадцати минутах ходьбы от меня. Полиник появился здесь совсем недавно, и я удивилась, что понятия не имею, кто занимал его ячейку прежде. Если подумать, таких слепых пятен вокруг было множество. Зоосад в моей голове был похож на карту, хорошенько прожженную сигаретами. Всюду пустоты, затворники, недавние переселенцы, и все, с кем я еще не сумела пообщаться. Это меня печалило, потому что я хотела знать, кто живет рядом, чтобы моя карта была чистой и красивой, а люди вокруг — настоящими, наполненными чем-то неповторимым, что так отличает их ото всех других. Я могла бы пойти и познакомиться сама, но мне не хотелось тревожить чей-то покой. Орфей утверждал, что люди бывают очень смущены вниманием, оно может отвлекать, пугать, расстраивать и даже злить их.

Так что я предпочитала ждать, пока увижу кого-нибудь нового на Биеннале, или на чьем-нибудь вечере. Тогда я могла аккуратно приклеить к своей воображаемой карте

квадратик на место сигаретного ранения и разрисовать его до полной неотличимости. Гектор говорил, что это странная фантазия. Я ответила, что у всех фантазий странный вкус, и тогда он вовсе ничего не понял.

Я звонила Полинику долго, так что палец устал жать на кнопку. Когда он открыл, вид у него был виноватый.

— Извини, — сказал он. — Я просто боялся посмотреть в глазок, потому что думал, что это кто-нибудь, кто захочет расспросить меня о том, кто я такой, и что здесь делаю. Знаешь, никто не любит отвечать на все эти вопросы. Наверное, нет. Многие любят. Я не люблю.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Я только уверилась в том, что была абсолютно права все это время. Кто знает, сколько людей вокруг переживают об этом, как Полиник.

— Я не буду спрашивать, — пообещала я. — Хотя тогда будет сложно говорить. Надеюсь, ты не будешь против, если я хоть иногда буду что-нибудь спрашивать.

Я тоже говорила быстро и нервно. Мы с ним даже одинаково переминались с одной ноги на другую. Наверное, он понял, что и я — тревожная, впустил меня и закрыл за мной дверь. Я увидела, что глазок заклеен розовым пластырем.

— Это чтобы не было соблазна, — пояснил он. Я посмотрела на Полиника, а потом на все, что окружало его. У меня закружилась голова, потому что образ был прекрасен и полон несоответствия. Все вокруг было розовым. Я увидела жилище кинодивы шестидесятых-семидесятых годов. Может быть, даже жилище кинодивы, которая сама была персонажем какого-то фильма. Все было множество раз дереализовано, так что картинка выглядела лакированной, пухлой и ненастоящей, как губы секс-символа. У всего здесь должен был быть привкус таблеток, алкоголя и помады. Розовые стены чуть поблескивали перламутром, я видела карликовые пальмы и хромированные ручки на безупречных белых дверях. Мы прошли мимо приоткрытой комнаты, где я увидела зеркало в рамке, из которой, как волдыри, торчали лапочки. Они должны были освещать лицо сидящего перед ними жестоким светом, раскрывающим все несовершенства. Для такого зеркала ты никогда не будешь достаточно хорош. Всюду стояли тумбочки с блестящими розовыми пепельницами, висели плакаты старых фильмов, нарисованные художниками, любящими женщин с выраженным луком купидона. Все светилось, как алкогольный коктейль в баре. Над дверями были неоновые картинки: вишни, бокалы, розы и бантики. Я подумала о "Долине кукол", о том, что здесь должна была жить актриса, игравшая в Голливуд со всей его блестящей обреченностью. Я скользила по полу, он был голубовато-белый, цвета мятного леденца.

Полиник сказал:

— Здесь еще не успели все перестроить для нас.

Все вокруг было так красиво, но отдавало какой-то тоской, мазохизмом золотой клетки, украшательство которой становится единственной свободой. Я увидела среди плакатов и фотографии. С них улыбалась безжизненно, но странным образом обаятельно, предельно миловидная блондинка с большими, распахнутыми от густо накрашенных ресниц глазами. Она очень любила свое тело, это было видно в позах и замерших движениях. Еще было видно, что больше она не любила ничего.

Здесь еще пахло вишней, отвратительной, химической отдушкой, от которой почти тошнило. Обилие розового тоже казалось тошнотворным, словно жевательные конфеты, которых съел слишком много. Мы прошли в гостиную, и мои ноги потонули в теплом белом ковре с длинным, мягким ворсом. Я пожалела, что я не босая. Полиник сел на розовый

кожаный диван. Столик был стеклянный, в нем тонули блески. Я увидела в пепельнице затушенные, недокуренные сигареты с отпечатками помады. Неужели хозяйка все еще жила здесь? В гостиной был большой аквариум без единой рыбки, в нем были только игрушки и неестественного цвета, как в мультфильме, вода. Казалось, если поднести к чему-нибудь в этой квартире зажигалку, оно не загорится, а потечет, как расплавленная карамель. За белой, длинной барной стойкой единственными темными пятнами были бутылки с алкоголем, даже шейкер сверкал необычайной голубизной. Какая удивительная, мертвая комната, думала я. Приторная сладость должна была скрывать боль. Я прошлась по просторной комнате. Нигде не было ни пылинки, ни пятнышка, ничего, за что можно было бы удержаться. Изнасилованная кукла, подумала я, вот на что это похоже — сияющая, предельная сексуализированность всего, ожившая эротическая фантазия, мороженное, которое не хочется лизнуть. Здесь всюду должны были быть запрятаны части кукол, во всех ящичках и шкафах просто необходимы были пластиковые руки, ноги и головы.

Расчлененное сознание.

Мне стало грустно. Я вспомнила красивейшие ячейки — Москву эпохи НЭПа, золотой век Версаля, позднюю Римскую Империю с роскошью и бесчинством. Мне стало еще тоскливее. Это место было начисто лишено любви к истории, которую оно представляло. Обычно можно было, хотя бы примерно, установить не только место или время, или и то и другое, но и особый род любви к ушедшей истории, к городам в упадке или в руинах, оставшимся на Земле. Пусть они хотели от нас этого маскарада, но мы научились консервировать в нем человеческое.

Здесь человеческого не было, а было последовательное расчеловечивание.

Я посмотрела на Полиника. Он в этом розовом лаке смотрелся словно в коллаже, черно-белый, вырезанный из книги с готическими рассказами, скорбный и лишенный чего бы то ни было общего с этой комнатой. Он был здесь как залетевший в окно ворон — совершенно случайный и чужой.

Полиник сказал:

— А, да, тут жила одна девушка. Она, в общем, умерла. Наелась таблеток и умерла. Прямо на этом диване.

Он похлопал по месту рядом с собой. Садиться я не стала. Полиник говорил об этом так спокойно и апатично, словно он вообще не понимал, что в этом странного, грустного или необычного.

— Это ужасно.

— Да, — сказал он. — Нехорошо. Лучше вообще не существовать.

Я не была с ним согласна, но лицо его выражало такую убежденность, что спорить мне не захотелось. Полиник взглянул на пепельницу.

— Надо бы это убрать.

— Надо бы, — сказала я. Мне стало жаль эту милую блондинку, и все ее недокуренные сигареты (только на половину, но много-много) показались мне вспышками боли.

— Но ты садись. Тело же убрали.

Полиник был странный, рассеянно-циничный, словно бы презирующий сам факт существования. Настоящий готический герой, но при этом в нем было что-то невероятно современное. Этот юноша должен был носить не фрак, а серые толстовки, жить в крохотной квартирке и заниматься единственным, что ему нравится на свете. На всех фотографиях он должен был быть грустным, его хобби должны были быть странными,

социализация весьма условной, а психика надломленной одиночеством и бессонницей. За образом бедного поэта проглядывал депрессивный и нищий молодой человек.

Я не стала садиться. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Мне казалось, что глаза у Полиника сейчас заслезятся. Я видела, что он думает о той девушке, а я думала об Орфее. Казалось, мы установили телепатическую связь, чтобы обменяться своим горем.

— Знаешь, — сказал он, наконец, — Здесь у нее была фотосессия. У этой девушки, что жила в ячейке до меня. Она была такая, знаешь, теплая и соблазнительная. А затем ее нашли на этом же диване, но холодную и мертвую.

Я не поняла, зачем он сказал мне такое. Должно быть, Полиник пытался развить тему, потому что не знал, что сказать.

— Мне жаль.

— Ну, да.

Мы еще некоторое время помолчали, а потом я почувствовала, что сейчас нужно говорить. Это была искра, пролетевшая между нами, взвившаяся вверх в этом мире пластической хирургии, матовых помад, насилия и неона. Я знала, что мы оба готовы. И я сказала:

— Ты ведь думал о том, как вернуть Исмену.

Полиник кивнул. Его глаза стали предельно внимательными, он прикусил губу, его резец выбелил область до бледно-розового, зато остальная часть нижней губы сильно покраснела. Полиник очень волновался.

— Я почти уверена, что у них есть специальный орган, где они хранят тела. Скорее всего, он нечто вроде криокамеры. Сначала тело совсем холодное, затем оно чуть нагревается, потому что в нем теплится жизнь. Подкожный жемчуг — это нечто органическое, так?

Полиник достал из-под воротника свое ожерелье, словно хотел в этом убедиться, затем кивнул. Я продолжила:

— И наше тело очень хорошо контактирует с ним. Правильно?

— Она сняла ожерелье перед тем, как убить себя.

— Что?

— Она сняла его, — сказал Полиник. — Чтобы умереть.

Разумеется. Мы все это знали, с ним даже умереть толком не получается.

— Оно сохраняет жизнь, — сказал Полиник. — Ты замечала, что инженеры всегда выглядят бледнее?

— Они живут ниже.

— Но есть ли разница? Очистительные системы ведь одни и те же везде.

Полиник вдруг увлекся, лицо его просветлело. Он сказал:

— Впрочем, думаю это тоже играет роль. Тут сумма факторов. Один жемчуг на Свалке не защитит. Но множество жемчужин внутри могли бы...

— Сохранять их жизни, — сказала я. — Несмотря на отсутствие тепла и пищи.

Мы понимали друг друга с полуслова. Я не думала, что мы родственные души, или что-то в этом роде. В конце концов, у нас просто был очень ограниченный набор информации и способов ее получить. Мы пришли к одинаковым выводам, потому что количество возможностей было столь мало, что не оставило нам маневра. И все же это было отличное начало.

— Думаю, подкожный жемчуг это то, что у них получается из жизни на нашей планете.

Красивое, белое, светящееся. Оно питает их, а излишек может помочь им сохранять тела и использовать их.

— Не думаю, — сказал Полиник. — Что ожерелье на шее может навсегда предотвратить смерть. Но оно может сделать ее невероятно медленной и очень мучительной. Поэтому мисс Пластик и сняла его.

Американская слащавость ее комнаты заставила Полиника так назвать эту бедную девушку. И хотя никакой Америки больше не было, если на земле и оставалось нечто настолько же сияющее, и в то же время плоское, как картинка в мультфильме, это была комната, в которой мы сидели.

— Но если она знала об этом, — сказала я, но не закончила свою мысль. Все знали, но не многие задумывались. Полиник все понял. Он кивнул. Мисс Пластик тоже много думала о том, что такое подкожный жемчуг, потому что кто-то, кого она любила, был заключен в ее хозяйне. Она тоже думала об этом так напряженно, что неизбежно пришла к этому выводу.

А затем ей стало так грустно, что захотелось умереть.

Мы продолжили разговор только через несколько минут. Я сказала:

— Но что бы ни делали наши солдаты четыре тысячи лет назад, у них не получалось повредить их так, чтобы увидеть хоть что-то. А подкожный жемчуг видим.

— Наверное, он очень глубоко.

Мы и не заметили, как перешли на шепот. И хотя у меня не было страха перед ними, потому как Сто Одиннадцатый никогда не интересовался тем, что я хотела вернуть Орфея, я все равно не могла говорить об этом громко. наших хозяев, казалось, больше волновала возможность потери цикла Моне, посвященного Руанскому собору, чем любые наши попытки убить их. Симптоматично для этой части истории.

— Не знаю, можно ли до него добраться с помощью оружия, — сказал Полиник. — Но вообще-то, когда они...достают их.

Я скривилась, словно мне стало дурно.

— Да, когда достают, — повторил Полиник, словно хотел приучить себя применять такие слова по отношению к той девушке, Исмене, доставшейся Семьсот Пятнадцатой. — Тогда есть шанс, наверное, вытащить их и привести в себя.

— Если только в это время Сто Одиннадцатый и Семьсот Пятнадцатая будут в транс-вроде того, который бывает у них от музыки или звучащей речи, или картин.

Мы думали очень быстро, но все это были теоретические, далекие от чего-то реального рассуждения. Успокаивающие компрессы для душ и разумов. Я увидела нас в большом зеркале над баром. Мы выглядели такими похожими. Оба растрепанные, лихорадочные, с побелевшими костяшками пальцев.

— Но нужно заставить их войти в это состояние, пока они используют тела твоего брата и Исмены.

Только не заставить. Уговорить. Мне казалось, мы близки к разгадке. Что-то носилось в воздухе, я хотела поймать это, как бабочку, спрятать в ладонях ответ на вопрос, который мы еще даже не задали. Как? Мы замолчали, чтобы уловить то, что оба хотели сказать. Но ничего не вышло, потому что мы слышали шаги. Они были тихие и от этого жуткие. Не шаги — шажочки. Глаза у Полиника округлились. Я подумала о том же, о чем и он. Это призрак! Это призрак мисс Пластик, умершей среди упаковок от таблеток, сорвавшей с шеи ожерелье и понявшей, что выхода нет. Полиник сильнее вжался в диван, а я подумала, что это плохая идея. Вряд ли Мисс Пластик покажется приятным, что кто-то поживает на месте

ее гибели. Я дернула Полиника за руку, и он прыгуче встал. Шаги не прекращались. На секунду меня посетила надежда:

— Может, это Семьсот Пятнадцатая? — спросила я.

Глупо было так думать, учитывая взгляд Полиника. Он покачал головой. Мы слушали. Кто-то ходил по дому, словно все это было ему хорошо знакомо. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Мне хотелось посмотреть, и в то же время я не могла и шагу сделать. Я верила в призраков. В детстве Орфей, как и все мальчишки, любил книжки про монстров и призраков, про все загадочное, и мы часами разглядывали иллюстрации в статьях про ужасные кровавые пятна, которые не оттираются от пола, или скелеты, найденные в подвалах. За каждой загадкой стояла грустная история, где кто-то умер или убил. Это мне не нравилось. Но красивые, эфемерные создания, чистые человеческие души в невесомых одеждах, казались прекрасными. Я всегда хотела потрогать призрака.

А еще, когда-то люди говорили, что инопланетяне это глупости. А теперь они правят нами четыре тысячи лет и восхищаются картиной "Артаксеркс, Аман и Эсфирь" Рембрандта.

Было бы странно упорствовать в том, что призраков нет. Если чудовище в Лох-Нессе давным-давно, наверное, умерло, вместе с рыбами и водорослями, то существование призрака зависело не от жизни, а от смерти. Было бы даже здорово стать призраком, ведь им не страшна гибель Земли, они уже пережили свою собственную. Несмотря на все эти детские фантазии, я не была до конца уверена в том, что хозяйка дома хорошо отреагирует на наше присутствие здесь. Она умерла дурно и отчаянии, наверное, настроение ее оставляет желать лучшего.

— Ты что боишься призраков? — спросил Полиник. Я сказала:

— Я боюсь призраков, которые злы на меня.

Полиник помолчал, потом прошептал:

— Ладно, я тоже боюсь.

Мы увидели тень под дверью, кто-то прошмыгнул мимо со скоростью, показавшейся мне нечеловеческой. Жаль, у меня не было фотоаппарата. В книге Орфея было сказано, что призраков можно сфотографировать или засечь с помощью люминесцентного детектора. Как только мы увидели тень, то сразу замолчали, сердце в груди забилося часто и громко, за все несказанные слова. Я ожидала увидеть прелестную белокурую головку мисс Пластик, склоненную набок, губы, покрытые блеском и пеной, пустые глаза. У нее должен был быть шаг, как у пьяной, и красивые колени, и смятое платье. А главное, она могла попасть сюда в любой момент. Могла даже оказаться за нашими спинами. Я обернулась. Никого не было. У меня не осталось сомнений в том, что мы столкнулись с духом, ведь мы не слышали, как открывается тяжелая дверь. Никто не мог проникнуть снаружи, но мертвые ведь всегда остаются внутри. Я сделала шаг вперед, но Полиник удержал меня за руку. Мы переглянулись. Шаги замерли, и тень замерла. Она заметила нас. Быть может, она стояла сейчас прямо перед дверью, некрасиво приоткрыв рот, наблюдая за нами сквозь пластик, глазами такими зоркими и в то же время как будто незрячими. Полиник сказал:

— Так, нет, пойду проверю.

— Ты чего? — зашептала я. — Не шуми. Мисс Пластик убьет тебя.

— Ну, убьет так убьет, — сказал он и сделал пару шагов вперед. И я удивилась тому, какую смелость могла давать его депрессивная апатия.

— Не умирай! — попросила я. — Мы еще должны спасти Исмену и Орфея!

Но Полиник не внял моим стенаниям. Я пыталась его удержать, но он как-то лениво и в

то же время настойчиво прошел к двери и распахнул ее.

За ней никого не было.

Мы с Полиником переглянулись. Я подумала, что, может быть, мы оба просто слишком сильно нервничаем. Может, оттого, что самое важное в наших жизнях общее, нам и кажутся одинаковые вещи?

Тем не менее, по позвоночнику все еще поднимались мурашки. Они взвивались к затылку, оттуда проникали в голову и превращались в страх и тревогу. Чужое присутствие ощущалось ясно, я не могла обмануть себя. Я прошептала:

— Может пройдемся? Снаружи. А дальше все как-нибудь само решится.

Орфей считал меня трусишкой, но сам, особенно в детстве, боялся такого множества глупых вещей. Я помнила, как он любил считать столбы по дороге на пляж, и, если пропускал один, то затем долго-долго ходил кругами под самым солнцем, а я смотрела. Он бы понял меня, ведь Орфей знал, что такое иррациональный страх. Полиник ответил:

— Нет, мы пойдем и посмотрим.

Голос его был безрадостным, лишенным даже любопытства. Я подумала, быть может, Полиник уже смирился со смертью. Я смотрела на большой, розовый проигрыватель. Мой взгляд отражался в его блестящей глади. Я подумала, что если бы мисс Пластик была за моей спиной, я увидела бы неясный дымок чуть позади своего плеча, как в самых страшных фильмах. Но было пусто.

Полиник, однако, уже некоторым образом все решил, со всем смирился и шел к одной из комнат.

— Ты думаешь, мисс Пластик там?

Он пожал плечами. Выражение его лица было невероятно апатичным. Но если бы Полиника снимали со спины, он мог бы показаться настоящим героем. Полиник сжал блестящую дверную ручку и с нажимом открыл дверь, так что нечто хрустнуло. Я протиснулась сквозь узкий проход вместе с ним. Комнатка была небольшой, розовой, как выпускное платье или деньрожденный торт, какого-то особого, праздничного оттенка, не совсем похожего на тот, что окружал нас в гостиной. Я увидела разбросанные по полу комиксы, обертки из-под леденцов. Жилище набоковской Лолиты, бутона, распускающегося на рассвете общества массового потребления. Мисс Пластик должна была быть подростком в условные пятидесятые. Наверное, такой была ее старая комната. Я едва не поскользнулась на комиксе, чуть проехала вперед на истории о невероятном человеке-мотыльке, и это заставило меня взглянуть вверх. Увиденное поразило меня.

На розовой веревке болтались пластиковые, гипсовые, фаянсовые части тел. Они были предельно анатомичны, становилось даже страшно, хотя я видела, что это материал, а вовсе не плоть. Кто-то с жутким умением и тревожащим талантом придал фарфору и гипсу такое сходство с детскими руками, ногами и головами, что у меня закружилась голова. Каждый пальчик, родинки, ссадины, все было исполнено с извращенной подробностью. А ведь что-то такое я и ожидала найти в этом доме.

Части кукол. Они болтались, словно вещи, но до конца вещами не были. Чьи-то руки придали им слишком точное сходство с настоящими руками (головами, ногами). В то же время, я понимала, что эти части исполнены в разных жанрах. Фаянсовые игрушки для девочек с хорошим вкусом и настоящие, фотографически точные дети, которые могли бы играть с этими игрушками, если бы только некий Пигмалион вдохнул в них жизнь. Даже пластиковые детали смотрелись анатомически совершенными, никаких условностей,

никаких поблажек, но блестящий стиль барби все равно был сохранен.

Это было по-своему прекрасно, но следовало закону "зловещей долины" и подспудно несло страх. Впрочем, в первую секунду ничего более реального, чем страх, попросту не было. Я закричала, думая не то об Одиссее, не то о мисс Пластик, о чем-то неестественном и убийственном.

— Что случилось? — спросил Полиник. Взгляд его поднялся туда же, куда смотрела я, и он сказал:

— О, нет. Это просто мои вещи. Они промокли, пока мы добирались сюда. Повесил просушить.

Я посмотрела на него. Наверное, глаза у меня были круглые и лишенные всякого понимания, потом что Полиник добавил:

— Я делаю детей. Не в том смысле. Это мое искусство.

— Ты что, извращенец?

— Все так реагируют, — ответил Полиник. Я протянула руку и коснулась гипсовой ножки с гладкой пяткой. Мне стало жалко этого даже не существующего ребенка.

— Ничего удивительного, — сказала я. — Это же дети!

— Это не дети. Это куски гипса, фарфора и пластика.

Тогда я поняла, что Полиник был талантлив по-настоящему. Потому что я, ни на секунду не выпуская из виду этот факт, совершенно о нем забыла. Именно так, в конце концов, и можно было определить, что есть настоящее искусство. Между материалом и образом лежал зазор, и я сама не заметила, как он расширяется в моем сознании. Изображающее почти стало изображаемым. Бездна увеличилась, а затем схлопнулась, как-то так описывал Орфей Большой Взрыв. А может быть, наоборот.

Полиник сказал:

— В общем, ничего страшного. Просто вот люблю делать детей с детства.

— Прозвучало ужасно.

— Ну, когда я был ребенком, это всех умиляло.

А потом мы слышали какой-то шум, кто-то в шкафу не то вздохнул, не то тихонько хихикнул. И я подумала, что самое время для мисс Пластик распахнуть двери с широкой улыбкой мертвой актрисы. Ничего, однако, не происходило. Если бы мы были в фильме, критики признали бы его самым скучным за всю историю кино. Полиник подошел к шкафу и попытался распахнуть его. Сначала мне показалось, что дверцы сопротивляются, затем я поняла, что это делает кто-то за ними. Я попыталась помочь Полинику, но даже вдвоем мы справились не сразу, а потом я почувствовала сильный удар в живот. Я отшатнулась, было больно, и дыхание стало совершенно невозможной штукой на некоторое время. В живот меня пнули ногой в смешном кроссовке со светящейся подошвой. От удара он тут же засиял розовым. Но его обладатель оставался для меня скрытым из-за темной пелены, соскользнувшей мне на глаза. Когда я пришла в себя, рыжая, бледная девушка и Полиник уже наперегонки неслись к двери. Она сжимала в руках какой-то альбом. Полиник успел первым, но вместо того, чтобы запереть дверь, он навалился на нее всем телом, отчаянно и глубоко дыша, сполз вниз. Рыжая девушка издала звук средний между рычанием и смехом, у нее были блестящие, злые глаза, похожие на изумруды. Хотя она была бледна, как большинство жителей Свалки, фигура ее казалась по-спортивному поджарой. Девушка была накрашена самым вульгарным образом. На ней был костюм официантки, мятно-зеленый с розовыми оборками. Он настолько не шел ей, что казался вырезанным из бумаги и приделанным к ней

бумажными же закладками, как в старых куклах из раскрасок. На этой девушке хорошо смотрелись бы брюки цвета хаки, берцы и майка с рукавами, обтягивающими литые, как у молодой собаки, мышцы. Но била она явно лучше, чем соображала.

— Отвали! — рывкнула она. Полиник покачал головой, он все еще тяжело дышал. Видимо, ему удар достался еще более мощный, чем мне.

— Подожди! — крикнула я. — Ты кто такая? И что здесь делаешь?

— Официантка, мать твою, — пробормотала она, а затем приготовилась пнуть Полиника, но я подбежала к ней и попыталась оттащить.

— Слушайте, — сказала она. — Я не хочу вас избивать.

— Тогда не надо, — ответил Полиник. — Просто объяснись.

— Мы думали, что ты призрак.

— Здорово, — сказала она и схватилась за ручку двери. Я увидела обкусанные ногти и облезлый лак. Мне удалось на пару секунд оттянуть ее назад, этого Полинику хватило для того, чтобы податься вверх в попытке загородить ей дверь. Однако, Полиник только ударился о ручку двери, и девушка засмеялась. Одной рукой она крепко держала альбом, костяшки ее пальцев побелели. Я видела, ей очень важна эта вещь. Он был розовый, и на нем была блестящая золотая звезда.

— Seriously, вы меня достали, — сказала она сквозь смех. Мне показалось, что она пытается изобразить негодование, но это выходит у нее так же успешно, как у очень доброй и детолюбивой учительницы.

— Это мой дом, — сказал Полиник. — Что тебе тут нужно?

Девушка тут же нахмурилась.

— Он не твой. Этот дом Леды.

Девушка выглядела оскорбленной, так что никаких сомнений не было в том, что Леда и есть мисс Пластик, а не какая-нибудь ее бывшая сожительница, которую переселили отсюда после приезда Семьсот Пятнадцатой.

— Ладно, не мой, — покорно кивнул Полиник. — Но ты все равно не имеешь права тут находиться!

Девушка перешла в наступление. Она сделала пару шагов в Полинику, склонилась над ним.

— Слушай, Леда мертва, а мы были подругами. Я скучаю.

Я вдруг заметила, что у девушки на бедре пятно крови. Такое неожиданное на мятном пространстве ее юбки, довольно большое и очень вязкое. Я поняла, почему не замечала его раньше — девушка ходила, говорила и вела себя так, словно не замечает его.

— И ты пробралась сюда, рискуя собственной жизнью, чтобы забрать альбом с вашими детскими фотографиями? — спросила я. Меня это восхитило, и я улыбнулась. Девушка криво оскалилась — улыбка у нее была неожиданно неприятная, зубастая, как у собаки. Затем взгляд ее стал серьезным. Полиник сказал:

— Если она и поверит в это, то я — нет.

— Только не пытайся казаться страшнее, чем ты есть, а то я на тебя наступлю.

— Ладно, хорошо.

Девушка цокнула языком и закатила глаза. А затем сказала:

— Все, уговорили.

Мы не очень-то уговаривали.

— Этот альбом нужен мне для жутко тайных секретных дел на Свалке. Теперь

пропустите?

Она знала, на что давить. Никому, даже Гектору, не пришло бы в голову сдать ее нашим хозяевам. В мире, где у жертв нет ничего общего с захватчиками, не может быть коллаборации. Теперь я уважала ее, и я бы многое отдала, чтобы помочь ей.

— Леда была нашим агентом, — сказала девушка. — Я — Ио. И я пришла, чтобы забрать альбом. Для этого мне пришлось играть в дурацкую игру с переодеваниями и потерять много крови.

Она кивнула на свою ногу.

— Так что, давайте-ка подумаем, как мне отсюда выбраться.

Мы с Полиником кивнули. Ио потрянула рыжими волосами, видимо, ей было привычнее носить хвост. Она добавила:

— Тварь поглотила ее отца. Леда сделала все, чтобы помочь нам. Она была героиней.

Мне стало жалко Леду, так любившую папу. А потом я поняла, кого так люблю я, и кого так любит Полиник. И мы оба поняли, что, в таком случае, может быть в этом альбоме. Ио расслабилась, она не ожидала, что мы попробуем отобрать у нее альбом теперь, когда она сказала, что ее дела связаны со Свалкой, а значит и с бунтовщиками. Она была куда более умелой, но нас было двое.

— Вы чего?!

— Дай посмотреть!

— Нам тоже нужно!

Мы боролись за альбом чуть больше десяти секунд. Когда Ио победила, я услышала, как открывается дверь.

— Полиник! Я дома!

Голос был совсем девичий, нежный и звонкий. В нем нечто было не так, но такая короткая фраза не давала понять, что именно. Мы трое замерли. Ио посмотрела на нас отчаянно, бравада из нее тут же выветрилась, и я увидела молодую, испуганную девушку. Я толкнула ее в сторону от двери, и она всем телом прижалась к стене за ней, когда Полиник сказал:

— Иду! — Ио глубоко вдохнула, и больше не дышала. Полиник вышел первым, а я — за ним следом. В конце концов, если мы хотели отвлечь Семьсот Пятнадцатую, нам стоило действовать вместе и быть как можно более интересными.

Она стояла у двери, опираясь на нее. Голова ее была чуть запрокинута. Семьсот Пятнадцатая прекрасно подходила этому месту. Я поняла, отчего Полиника поселили в ячейке Леды, аквариуме с мертвой рыбкой. Семьсот Пятнадцатая, должно быть, влюбилась в это место.

Исмена была ровесницей Полиника, миловидной брюнеткой с широко распахнутыми, круглыми глазами маленькой девочки. Семьсот Пятнадцатая превратила ее хрупкое тело в китч и пластик, так подходящий этому дому. Она была покрыта плотным слоем макияжа, так что, при желании, с лица Исмены, наверное, можно было снять маску. Все лицо было в тональном креме и пудре, так что в нем было что-то от манекена. Губы блестели ярким, конфетным розовым, таким сильным цветом, что он с трудом воспринимался глазами. Длинные накладные ресницы не двигались, ведь Семьсот Пятнадцатая не моргала. Веки были тронуты блестками, блестели и скулы, кончик носа, ямочка на подбородке. Безвкусица была передана настолько точно и аккуратно, что, казалось, она и была целью. Исмена была похожа на очень богатую выпускницу школы, желающую устроить праздник и на своей

коже. Тиара со стразами на голове и броская, похожая на балетную пачку юбка, усиливали это впечатление. Колготки на Исмене были порваны, и кое-где проглядывали ссадины темного, фиолетового цвета, такого неожиданного на фоне вездесущего розового. Я увидела обломанные ногти, покрытые розовым блестящим лаком. Они были искалечены, но не так, как у Ио. Семьсот Пятнадцатая не умела падать. Она делала это так неудачно, что, пытаясь удержаться, могла сорвать ногти с мясом.

— Я пришла, — повторила она и улыбнулась. Мне захотелось отвернуться. Ярко накрашенные губы обнажили кровоточившую десну. Наконец, мне стало понятно, что именно не так с ее голосом. Семьсот Пятнадцатая невероятно сильно выделяла слово "я", словно оно было центральным во всем. Ей, несомненно, хотелось быть собой. Она прошлась, заводя одну ногу за другую, как пьяная и готовая упасть в обморок от голода супермодель. Ее губы коснулись щеки Полиника, оставив на ней розовый след. Затем Семьсот Пятнадцатая ударила Полиника с размаху, но не слишком больно — рука ее была слабой.

— Ты почему не поцеловал в ответ? — спросила она. — Соприкасаться. Хочу, чтобы прикасался. Я хочу. Трогать, рвать.

— Я забыл, — ответил Полиник и склонил голову. Я подумала, что он, наверное, хотел целовать Исмену, и теперь ему просто больно. Семьсот Пятнадцатая посмотрела на свою руку и снова улыбнулась. Доминатрикс в доме мечты, так бы сказала Медея.

А что сказал бы Орфей?

Несомненно, ему бы стало так отвратительно.

Взгляд Семьсот Пятнадцатой скользнул по коридору, и только тогда она заметила меня.

— Кто? Кто это? Это кто?

Она прошла ко мне, и я поразилась тому, как не анатомичен ее способ ходьбы. Семьсот Пятнадцатая облизнула губы, посмотрела на мое ожерелье.

— Сто Одиннадцать, — сказала она, взяла меня за подбородок, а потом потянула за собой, поставила рядом с Полиником, отошла и склонила голову набок. — Пробовать. Пробовать.

Она зашептала что-то сама себе, затем улыбнулась.

— Скучные, — сказала она. — Скучные, не двигаются, не говорят. Я пришла.

— Хочешь покажу тебе еще кукол? — спросил Полиник.

— А я могу рассказать о том, что здесь происходит. Я выросла в этой части Зоосада.

Мы медленно отходили от закрытой двери, чтобы увести Семьсот Пятнадцатую в гостиную. Она, как зомби-старшеклассница, следовала за нами, раскачивалась из стороны в сторону. Когда мы оказались у порога гостиной, она замерла у двери, за которой стояла Ио. Семьсот Пятнадцатая покачалась около двери, затем прошла дальше.

— Есть, я хочу много есть. Что ела та, которая жила. Жила до меня. Дышала. Ела. Носом втягивала воздух. Я помню, что ты говорил.

— Я думаю, — сказала я. — Она ходила в ресторан. У нас здесь замечательный ресторан. Хотите сходить?

Семьсот Пятнадцатая сняла со стены одну из фотографий в рамке, коснулась языком стекла там, где было лицо Леды.

— Красивая, — сказала Семьсот Пятнадцатая. — Красавица.

— Да, — сказал Полиник. — Она очень красивая. Такая милая. Жаль, что умерла.

Вдруг Семьсот Пятнадцатая резко, как птица, обернулась к нам.

— Нервничают.

— Нет, — сказал Полиник. Я подумала, что ему больно смотреть на то, что Семьсот Пятнадцатая не бережет тело Исмены. Она двигалась так, что Исмене было бы больно.

Если бы только она могла чувствовать. Я вспомнила об альбоме с золотой звездой. В нем могли быть хоть какие-то ответы.

Семьсот Пятнадцатая сказала:

— Глупость.

Мы с Полиником молчали, потому как не поняли, что она имеет в виду. Ее пальчик с обломанным ярким ногтем ткнулся мне в грудь.

— Ты, да?

Я кивнула, не зная, как еще можно среагировать.

— Его подруга? У него уже была подруга. Подружка. Они дружили. Теперь это я.

Я видела, как ее язык отходит назад, чтобы артикулировать слово "я".

— Мы только познакомились. Я просто соседка. Пришла предложить Полинику погулять по Зоосаду. Я хотела все здесь ему показать.

— Знаете, Принцесса, мы могли бы сходить к Первой и испросить у нее разрешение, чтобы вы вечером могли гулять с нами. А Эвридика пока подождет здесь.

— Ну разрешение. Ну вечером. Ну ясно. Ну да. Ну.

Мы, люди, употребляли бесполезные слова, однако не так часто. Казалось, если уж Семьсот Пятнадцатая вспоминала о словах-паразитах, она старалась взять от них все.

— Да, может Первая не сразу примет нас, — продолжал Полиник. — Но Эвридика никуда не спешит. И она терпеливая.

Я поняла, на что Полиник намекает. И хотя я боялась гулять с Принцессой, их уход подарил бы мне попытку добраться до дневника. Я закивала.

Семьсот Пятнадцатая раздумывала с полминуты, затем ударила меня.

— Люди — агрессивные, — сказала она. Мне стало больно и обидно, но я постаралась этого не показать.

— Вот и познакомились, — быстро сказал Полиник. — Что ж, Эвридика, подождешь нас?

Я забыла о боли и обиде, потому что мне показалось забавным, как Принцесса боится маминого гнева. Монстры из черного Космоса, из внешней тьмы, почти равные богам, тоже отпрашивались у родителей. Я проводила Полиника и Семьсот Пятнадцатую до двери. Она шла неуверенно, и мне все время казалось, что сейчас Семьсот Пятнадцатая передумает. Полиник пытался поддерживать ее, но она била его по рукам, как трехлетняя девочка, пытающаяся сделать все самостоятельно и раздраженная тем, что мир ей не покоряется.

Надо же, думала я, какая она агрессивная. Сто Одиннадцатый, к примеру, очень спокоен. Интересно, это потому, что она — девочка, или потому, что она Принцесса, или потому, что она так видит нас, людей?

Ни один из этих вопросов не получил своего ответа к тому моменту, когда за Семьсот Пятнадцатой и Полиником закрылась дверь. Я осталась одна в их доме. Вернее, в доме Леды. Я метнулась к комнате, где была Ио, прошептала:

— Они ушли! Только, может, покажешь альбом? Просто он нам правда нужен, и...

Когда я открыла дверь, то едва не ударила ей Ио. Вернее, ее тело. Вернее, все-таки Ио. Она не упала, но сползла по стене вниз, наверное, поэтому Семьсот Пятнадцатая и остановилась у двери. Ио сумела не выдать себя, но, кажется, на этом ее силы кончились. Пятно на ее бедре стало шире и больше. Я склонилась к ней и почувствовала, что она дышит.

Рот ее был приоткрыт, словно она спала. Но ее короткая передышка слишком легко могла стать вечным покоем. Я сняла с себя ожерелье и повесила на нее. Так у нас будет чуть больше времени.

Я не знала, что буду делать, но была твердо уверена в том, что бег до аптеки не только взбодрит меня, но и, усилив кровообращение, приведет к каким-то выводам. За одним действием неизбежно последует другое. В аптеке лекарства, а лекарства — это жизнь (у некоторых производителей даже слоган такой). Эту мысль я додумывала уже выбежав за дверь. Я надеялась, что Полиник и Семьсот Пятнадцатая ушли далеко, не хотелось бы встретиться с ними, а то Семьсот Пятнадцатая подумает, что мне настолько не хочется гулять.

Еще она подумает, что мы очень подозрительные.

И увидит Ио.

Странно, я совсем не испугалась. Мне нужно было спасти человека, а я не боялась.

Сердце стало таким большим, что, казалось, больше ничего в моем теле не осталось. Оно билось на кончиках пальцев и лезло в горло. Я знала, что Ио дождется меня, знала, что пока у нее на шее мое ожерелье из подкожного жемчуга, она не умрет.

И все-таки я бежала. В конце концов, я в первый раз по-настоящему могла помочь кому-то. В аптеку я ворвалась через десять минут, хотя должна была оказаться в этой точке пространства почти вполосину позже. Я сощурилась от яркого света и все поняла.

Яркий свет, свет как в больнице. Нужно было позвать врача. Только для начала, раз уж я сюда пришла, стоило купить искусственной крови, антисептиков и всего того, что может пригодиться человеку, у которого дыра в ноге.

Я попыталась сделать вид, что ничего не происходит.

— Эвридика? — спросил Менелай. Столь ранний час в аптеке проходил скучно и долго, и Менелай явно искал, с кем бы посплетничать. Это был добродушный, старый человечек, крохотный, зато с большой бородой. Он носил очки в овальной оправе, похожие на две серебристые капельки из-за крупных линз.

— Здравствуйте! Прошу прощения!

Я хотела с порога сказать, что мне нужно, но не решилась. Быстро прошла мимо длинных стеллажей с лекарствами, к прилавку. Аптеки очень любил Орфей. Ему нравились ряды белых пачек с яркими буквами на них, латинские названия, соотношения рисков и выгод, и мерзкие вкусовые добавки, которыми пресекали горечь, такие беспардонно химически малины и апельсины.

Орфей любил все штампованное, все, имевшее формулу, все, что можно было повторить. Он часами мог разглядывать покрытые фольгой блистеры. Ему нравились вещи и пространства со множеством выемок, те, которые обычно вызывают отвращение. Орфей называл это порядком.

Когда мы были маленькими, Орфей любил ходить в аптеку просто так. Мы покупали леденцы с медом, спасающие от боли в горле, и Менелай, тогда еще молодой, рассказывал Орфею про все таблетки. Он доставал пачку за пачкой, как тома в библиотеке, и рассказывал столько, что они и казались книгами. Менелай говорил:

— Станешь провизором, если не выйдет с музыкой. Уж я о тебе похлопочу.

Орфей был гордый, он вскидывал голову и говорил:

— Я создам идеальную гармонию и научу всех людей создавать что-то прекрасное.

Менелай только посмеивался. Тогда борода у него была еще не седая. Он чесал ее, наблюдая за тем, как Орфей называет аналоги препаратов и совмещает их. Орфей воспринимал это как пример, простейшую комбинаторику. Таблетки были просто кубиками, которые Орфей переставлял. Это был его особый интерес.

Я скучала и писала о том, как красив и безжалостен свет люминесцентных ламп, а все бальзамы для губ пахнут розами и клубникой, но все больше — воском. Аптека была для меня холодным местом, супермаркетом, где покупают не еду и бытовую химию, но избавление от невероятных страданий. Если аптеку персонифицировать, получилась бы женщина с ледяным, механическим голосом, делающая все, что нужно, но не чувствующая ничего. Такая медсестра с эмоциональным выгоранием. Я писала и о ней. Вокруг пахло так горько, и я думала о джунглях и хине, которую пили бредящие от малярии солдаты. Здесь ко

мне приходило столько идей, очень вдохновляющее было место, хотя и неприятное.

А если смотреть в начищенные квадраты кафеля, можно было увидеть саму себя, расплывшуюся в невнятное пятно. Это был полезный опыт. Если бы я только вспомнила, о чем говорили Орфей и Менелай, пока я водила ручкой в тетради, можно было бы спросить конкретные лекарства.

Но их голоса были для меня смутным потоком, единственными, повторяющимися нотами в симфонии образов, взвивавшихся в моей голове.

Если бы я только знала, что Орфея не будет со мной так скоро, я бы, пожалуй, запоминала каждую его фразу, чтобы он звучал у меня в голове, и все дни без него не казались пустыми. Вот бы положить под язык таблетку, и все вспомнить.

Тесей говорил мне, что хочет, наоборот, все забыть. Но я знала, это потому, что ему грустно без Орфея, и он ни на что не надеется. А Тесей скорее будет мертвым, чем грустным.

Менелай мягко тронул меня за плечо.

— Эвридика!

— О! — сказала я. — Прошу прощения, я задумалась. Мне нужно что-то для человека, который потерял много крови. У вас есть искусственная кровь? И таблетки, чтобы она пришла в себя? Или капельница? Продадите мне капельницу?

У меня совсем не получилось сделать вид, что ничего происходит. Я достала карту. Фактически, деньги использовались только на Свалке и нижних этажах Зоосада, у нас были безлимитные карты, которыми мы оплачивали все покупки. Никто из наших хозяев не пользовался деньгами и не интересовался товарно-денежными отношениями, финансами занимался особый отдел Зоосада, предположивший, для простоты, что у питомцев с последних этажей есть безлимитные карты с бесконечным количеством денег. На самом деле у нас были хозяева, которые способны стереть землю в порошок.

Экономическая предпосылка благоденствия из этого выходила не слишком убедительная.

Менелай не взял карту.

— Что, Эвридика? — спросил он. Я повторила все слово в слово. Менелай был человек не молодой, и его слух мог уже пострадать от времени. Орфей сказал бы, что в нем начались дегенеративные процессы.

— Я услышал это с первого раза, Эвридика, — терпеливо сказал он.

— Тогда давай мне скорее все, потому что дело серьезное!

— Кто-то пострадал, Эвридика?

— Конечно, кто-то пострадал. Иначе я не брала бы у тебя искусственную кровь! Я же не вампир!

Я осторожно подтолкнула к нему карту, но он не взял. Я начала топтаться на месте. Мне хотелось побыстрее бежать за врачом, объяснять все уже ему, но Менелай смотрел на карту с осторожностью.

— У нас человек со Свалки, — сказала я тихонько. Он сказал:

— Я понимаю.

Некоторое время он думал, поглаживая свою бороду. Мне тоже захотелось ее погладить и узнать, какая она на ощупь. Наконец, Менелай ушел в подсобное помещение и оставил меня одну.

— Но ты же вернешься? — крикнула я ему вслед. Хорошо, все-таки, что я бежала. Хоть

какое-то время сэкономила, все изрядно затянулось, а мне ведь еще нужно было найти врача. Колокольчик звякнул, и я подумала, что кому-то нужны таблетки от головной боли после бессонной ночи. Полка с обезболивающими всегда была полупустой. Менелая, подумала я, наверное очень грустно, если он знает о том, что случилось с Ледой.

Ведь наверняка именно он продал ей те таблетки. Сложно протянул нож, который она всадила себе в сердце.

— Добрый день, Эвридика!

Я развернулась так резко, что, должно быть, напугала Андромеду. В конце концов, именно она была мне нужна. Как только я не подумала об Андромеде, ведь я доверяла ей, и она была врачом. То есть, теперь она была оператором жизнедеятельности, но ведь раньше Андромеда лечила людей.

Она, удивленная моим резким движением, на секунду замерла на пороге, затем решительно прошла к прилавку. Наверное, теперь Менелай еще дольше будет держать меня здесь. Андромеда и Менелай были обслуживающим персоналом и не участвовали в нашем маскараде, оттого смотрелись странно. И если на нем была обезличивающая форма, то Андромеда носила милые платица с романтичными воротниками и следила за модой, которая имела смысл и ценность только среди инженеров. Людям на Свалке все время было не до того, а мы, художники, оказались разделены десятилетиями и даже столетиями. Я знала, что Андромеда относится серьезно ко всему, даже к макияжу, которому она посвящает час каждое утро перед работой и все свободное время, чтобы набить руку (она тренируется, но все равно не красится быстро, потому что боится смазать стрелку или контур губ). Из-за этого она все время опаздывает. Иногда Андромеда давала себе паузы, чтобы подправить помаду, делала это мучительно долго, а затем убегала.

Мне казалось, она рисует на себе маску и ходит так быстро, чтобы никто ее не увидел. Андромеда была симпатичной молодой женщиной, надо сказать, черты ее были много интереснее вида, который она пыталась придать им с помощью макияжа. Андромеда хотела стать средней, обычной, и делала все для того, чтобы не выделяться. Она красила свои большие, светлые, еще говорят "инопланетные" глаза так, чтобы они выглядели обычными, светло-голубыми, не слишком огромными и не маленькими. Она хотела сгладить все собственное в своей внешности, и благодаря мастерству это у нее отчасти получалось.

Я обняла ее, и Андромеда снисходительно похлопала меня по плечу.

— Я опаздываю, милая, извини.

Даже слова Андромеды казались позаимствованными у кого-то. Я часто думала о том, что она потеряла себя и не может найти. Андромеда мягко отстранила меня, подошла к прилавку. Я сказала ей:

— Мне нужна твоя помощь.

Мне казалось, мы были подругами. В конце концов, Андромеда часто приходила ко мне осведомиться о моих жизненных показателях, и мы разговаривали и пили чай. Многие считали Андромеду занудой, но я знала, что у нее доброе сердце.

Формально она занималась проверкой и сопоставлением наших сердечных ритмов, функций дыхания и других цифр в картах. Вместе с другими операторами жизнедеятельности, Андромеда сводила эти показатели и выясняла, не проникает ли зараженный мир на нашу стерильную территорию. Она должна была быть в курсе всего, точнее и чувствительнее любой машины, вот отчего Андромеда всегда была нервная.

Она постучала пальцем по прилавку, сделав вид, что не слышала меня. Я повторила, и

Андромеда обернулась. Взгляд у нее был раздраженный, но она улыбнулась:

— Да, конечно. Что-то срочное?

— Очень срочное, — сказала я. Казалось, теперь ее настроение рухнуло в черную бездну. Она вздохнула:

— Излагай, Эвридика.

И я изложила:

— Там умирает человек. Очень милая девушка. Она ранена, в ногу. И потеряла много крови. Я нашла ее в шкафу. Вернее, мы, но это не так важно. Так вот, я не знаю, сколько она просидела там, и сколько крови у нее вообще осталось, поэтому надо действовать быстро.

Андромеда тихонько выругалась.

Я сказала:

— И я никак не могу просто вызвать скорую помощь, потому что она со Свалки. В конце концов, в любой момент могут вернуться Полиник и Семьсот Пятнадцатая, поэтому надо достать ее. А у тебя есть машина.

Тогда Андромеда выругалась еще крепче. Вышел Менелай. Он нес с собой большой пакет. Он протянул его мне, и я прижала пакет к себе, обняла его. Я снова подтолкнула к Менелаю карту.

— Ну-ну, Эвридика, — сказал Менелай. — Ты же уже заплатила.

Я поняла, о чем он. Менелай не хотел пробивать эти товары. Они могли вызвать вопросы у Сто Одиннадцатого. Иногда он интересовался нашими расходами, видимо, из чистого любопытства к тому, каким образом мы функционируем, и как работает наше общество.

Я забрала карту:

— Совсем забыла, — сказала я и улыбнулась. — Извини и спасибо.

Андромеда взяла три пачки таблеток от головной боли, сделав полупустую полку пустой на две трети. Я подождала ее снаружи. Когда Андромеда вышла, на лице ее отразились тоска и разочарование. Наверное, она надеялась, что я уйду. Но я никак не могла уйти.

— Сейчас покажу, куда ехать.

— Эвридика, скажи мне, что ты шутишь, хорошо?

Андромеда шла к машине быстрее меня, словно бы надеялась, что я отстану от нее в пути. Но я не была листом, упавшим с дерева или пластиковым пакетиком.

Она открыла дверь машины, и я сказала:

— Но если ты не поможешь, человек умрет. Очень хороший, смелый человек.

Андромеда закатила глаза, затем сказала:

— Тогда залезай уже в машину.

Мы ехали молча, я только говорила, где поворачивать. Рельсы, по которым двигался электромобиль, чуть потрескивали. Казалось, от напряжения, которое царило в машине. Мне нравилось кататься на машине и смотреть в окно за тем, как все меняется. В книгах и фильмах часто говорят о свободе, которую приносит с собой машина. Я никогда не чувствовала ничего такого. Весь Зоосад был снабжен сложной системой рельсов, по которым двигались электромобили, так что ни о какой свободе речи больше не шло, все было детерминировано, и если ты куда-то повернул, значит это уже кто-то предусмотрел, проложив здесь рельсы. Конечно, люди и раньше, используя обычные машины, редко нарушали правила дорожного движения или сворачивали с дороги в полный деревьев лес.

Но у них всегда была такая возможность. Пусть убийственная, пусть неразумная, но она была. Как желание прыгнуть вниз, когда смотришь на мир с высоты.

Теперь все было определено и предельно безопасно. На Свалке машин тоже стало мало. Воздух был слишком дорог, чтобы расходовать его вот так. Но там встречались дикие, не приученные к рельсам машины, которые могут сворачивать куда захотят, а не куда нужно.

— Объяснишь мне снова? — попросила Андромеда. Она постаралась скрыть свое раздражение. Я стала рассказывать все, как есть. Я уже несколько раз повторила основной посыл этой истории, поэтому стало ужасно скучно. Я принялась рассматривать таблетки в пакете. Одинаковые белые упаковки, пахнущие больницей. Все, кроме одной.

Искусственную кровь Тесей называл "Красной капитуляцией", а Орфей говорил мне, что это изобретение пресекло, наконец, историю. После него ничего не было.

Я толком не знала, как действуют эти красные таблетки. Капсулы, в которых содержалось множество алых шариков, и если их потрясти, можно было увидеть, как шарики переливаются внутри.

Эти таблетки могли спасти человека, потерявшего три четверти объема крови, и никакого переливания не требовалось. Полсекунды, чтобы засунуть таблетку в рот, и человек будет жить. Эти таблетки изобрел три тысячи лет назад фармацевт по фамилии Ночевский. Он спас миллионы людей и одновременно погубил нас всех.

Тогда наши хозяева только начали приходить к мысли о том, что людей можно держать, словно домашних животных. Еще не полностью были разрушены страны, а мир был намного чище.

Художница Эсперанса (а ведь Эсперанса на том языке — надежда) Альварес вскрыла себе вены в ванной. Многие другие последовали ее примеру. Люди носили красное из солидарности с теми, кто томится в плену. Тогда мы думали, что скорее умрем, чем будем несвободны. Многие так и сделали. Люди думали, что во избежании эпидемии самоубийств, детей и взрослых, запертых с тварями, отпустят. Тогда еще никто не знал, что с ними будет безопаснее.

Так не случилось. Наши хозяева объявили, что отныне за смерть одного человека искусства несет ответственность сотня "просто особей". И они не лгали.

Этот метод пресечения самоубийств оказался эффективным. Примерно в то же время Ночевский изобрел "Красную капитуляцию". Почти полностью обескровленных людей спасали в считанные секунды, и такой способ умереть ушел в историю почти как натуральная оспа или вероятность быть сбитым запряженной лошадьми повозкой (хотя сегодня она отчасти вернулась в некоторых регионах Зоосада).

У людей оставалось еще множество способов убивать себя, еще больше можно было измыслить. Но никто не хотел забирать с собой сотню человек.

"Красная война", как ее называли, постепенно сошла на нет, а "Красная капитуляция" стала символом эпохи. Шутили, что если люди начнут вешаться, изобретут лекарство от веревки.

Никто больше не убивал сотню людей за одного, не захотевшего жить в неволе.

Тем и закончилась история. Можно было сказать, что у нее счастливый конец. Большинство людей пережило те времена. С тех пор ничего больше не происходило.

Я закончила свой рассказ тогда же, когда в моей голове подошел к концу другой, про "красную капитуляцию". Андромеда сказала:

— Если честно, я не совсем понимаю.

— Как не понимаешь? История кончилась, потому что больше не было никаких перемен и не происходило ничего значимого. На сцене опустился занавес, и мы стали готовиться выйти через черный ход, как отыгравшие свои роли актеры, и устремиться в ночь.

— Что ты несешь?

Тогда я поняла, что Андромеда говорит не о "Красной капитуляции", а об Ио, которая в ней нуждается.

— О, прошу прощения. А что ты не совсем понимаешь?

— Кто ее ранил, если она все еще здесь? Значит, не один из господ и никто из тех, кто выдал бы ее. Кто же?

— Я об этом как-то не думала, — ответила я. — Не до этого было.

Андромеда вдруг засмеялась, а затем посмотрела на меня и вздохнула так, словно устыдилась своего неожиданного веселья. Я сказала:

— А правда, у этого вопроса нет очевидного ответа.

Андромеда нахмурилась, а я все думала, кто же способен на такую подлость. Я не знала таких людей, которые могли бы напасть на незнакомку с ножом. Разве что Неоптолем, но об этом бы в таком случае знал весь Зоосад, и он выдал бы такой поступок за искусство.

Мы с Андромедой молчали, и она включила музыку. Кто-то пел нам песню о том, как страшно просыпаться после того, как научишься летать. Такая забавная, легкая, как перышко, песенка со страшным смыслом. Когда припев повторился в третий раз, ко мне пришел ответ.

Я уже знала человека, который нападает на незнакомцев с ножом. Я познакомилась с ним вчера.

— Одиссей, — прошептала я.

— Кто?

— Питомец Первой. Он — серийный убийца.

Глаза Андромеды округлились. Она боялась серийных убийц, кислотных дождей и вечеринок, гриппа и даже плохой погоды, хотя она ее не касалась.

Я сказала:

— Поэтому не ходи одна, хорошо? Думаю, это он напал на Ио. Но это не точно.

— И кто тогда? Какова вероятность, что в нашем секторе случайным образом оказалось двое маньяков?

— Ладно. Ты права. Это точно.

Я подумала о Медее. Нужно было проводить ее до выхода. В конце концов, дальше нельзя было ни мне, ни Одиссею. Машина, наконец, остановилась. Я и не думала, что мой рассказ занял так мало времени. Мы вышли, и Андромеда вдруг спросила:

— Как он выглядит, этот Одиссей. Действительно страшный?

— Не особенно, — сказала я. — Но ты не волнуйся о нем сейчас. Мы спасем Ио, и я все тебе расскажу.

— Так что ты будешь делать с ней после?

— Ничего. Она свободный человек и сама распорядится собой.

Мне нужно было только, чтобы она была в порядке. А еще посмотреть ее альбом. Дверь оставалась открытой. Это значило, что Полиник и Семьсот Пятнадцатая не вернулись. Только сейчас я поняла, какой опасности подвергла Ио. А если сюда забрел бы Одиссей?

Мы вошли внутрь.

— Здесь зловеще, — сказала Андромеда. — Но мне даже немного нравится.

Она очень волновалась и пыталась скрыть это за цинизмом и безразличием.

Ио все еще лежала на полу. Она казалась мне удивительно бледной, и ее рыжие волосы оттого совсем были похожи на огонь. В своей форме официантки и нелепых кроссовках Ио казалась скорее пьяной, чем умирающей. Ее крепкое тело даже сейчас производило обманчивое впечатление здоровья и благополучия.

Андромеда подошла к ней, приподняла ей веко, обнажив зеленую радужку и слабый зрачок, пощупала пульс. Я тем временем подняла альбом.

— Жива, — сказала она. Теперь я была абсолютно уверена в том, что если бы не ожерелье, мы непременно нашли бы Ио мертвой. Я увидела под ней лужу крови. Она блестела. Андромеда тут же скормила Ио три таблетки искусственной крови и быстро перевязала рану новенькими бинтами. Повязка вышла некрасивой, совсем не как в фильмах про больницу.

— Помоги-ка мне погрузить ее в машину.

И я помогла. Я держала ноги Ио, сжимая альбом под мышкой.

— Что это? — спросила Андромеда.

— Нужная ей вещь.

Больше Андромеда ничего не спрашивала. Когда мы выходили, я ногой толкнула тяжелую дверь. Она с автоматическим щелчком закрылась.

Мы положили Ио на заднее сиденье, и Андромеда все ругалась и ругалась, что ей придется отмывать салон, даже когда я сказала, что помогу. Так что, когда машина тронулась, я просто открыла альбом. На внутренней стороне обложки повторялась золотая звезда, зеркально-глянцевая и приятная на ощупь. Красивым, детским почерком вывела свое имя девочка Леда. Первая запись была короткой.

"Доброе утро, дневник! Сегодня первый день, когда я тебя веду. Вчера мне исполнилось семь лет, а сегодня ничего не происходит!".

На второй странице появились покрытые блестящим лаком сердечки. У меня на глазах выступили слезы. Я увидела перед собой человека, который много позже умрет. Это была счастливая маленькая девочка, ей подарили на день рождения забавную тетрадку. Я обернулась. Ио лежала на заднем сиденье. Кожа ее порозовела, но лицо оставалось неподвижным. Быть может, она и вправду просто скучала. Я бы тоже добавила, что пришла по тайным, секретным делам, чтобы меня воспринимали всерьез. Рыжие пряди Ио потряхивало от движения.

Следующая запись была больше.

"Привет, дневник! Я не вела тебя почти полгода, но сегодня мы с Рыжей решили, что нужно всегда записывать свою жизнь, чтобы не забыть, когда мы станем старыми. События на сегодня:

1. Мороженое.
2. Он ПОСМОТРЕЛ.
3. Было тяжело дышать, но уже стало легче.
4. Мы плевали в стену, и я плюнула выше всех.
5. ЗУБОДРОБИТЕЛЬНО!"

И я подумала, надо же, Леда хотела ничего не забыть, но эти записи наверняка стали бы непонятными к ее шестидесятилетию, все смыслы, спрятанные в них, такие безупречно важные для маленькой девочки, затерлись бы до дыр. Леда умерла раньше, чем это случилось.

Я читала дальше. Теперь Леда предстала передо мной в своем чувственно-конкретном образе, девочка, которая любит розовые леденцы и кидаться камешками в воду, девочка, которая мечтает летать и верит, что ее подменили феи, девочка, укравшая кольцо в магазине и очень стыдящаяся этого.

Менялся и почерк. От детского, неровно-прыгучего, он шел к аккуратному почерку молодой девушки, желающей получать пятерки. Теперь я знала и кое-что о жизни на Свалке. Больше, чем могла прочесть когда-либо раньше, потому что Леда не придавала своим мыслям никакого художественного или публицистического образа. Для нее это была жизнь. Нарисованные, покрытые блестками ракушки и короны соседствовали со словами "Сегодня никак не могла наесться. Значит, я скоро умру?". Это была жизнь, как она есть, и в определенном смысле она была выше любого искусства. Леда ничего не скрывала, просто не умела этого делать, она не врала — невольно или умышленно. Она говорила со мной сквозь время, сквозь розоватую бумагу и чуть выцветшие чернила. Мне казалось, мы стали друзьями.

Орфей как-то говорил, что высший смысл искусства никто из них, на самом деле, не понимает. Он состоит в том, чтобы сама реальность казалась нам переносимой. Посильной.

Реальность Леды была лишена всякой художественности. Она казалась мне чудовищной. И я думала о том, что это жизнь моих родителей. И если они не живут ею, то они вообще не живут. Я читала:

"Она сначала упала в обморок, а вечером мама сказала, что ее больше нет."

Я читала:

"Папа сказал, что мертвым холодно и темно, но в остальном — они живы. Он меня обманывает! Они все обманывают!"

А еще:

"Теперь становится тяжелее засыпать, я все время слушаю, как они дышат. Пусть бы его взяли, пусть бы взяли, пожалуйста!"

Все изменилось, когда Леде исполнилось двенадцать. Одна из страниц была закрашена черным. Я не знала, что это значит. Быть может, умер кто-то из ее близких. Затем несколько страниц было вырвано, и я увидела запись, снова сделанную дрожащей рукой, будто Леда стала на несколько лет младше.

"Он взял папу! Он взял папу, потому что папа отличный поэт! Такой хороший, что и я поеду с ним! Я спела песенку, и он был чем-то доволен! Я могу стать актрисой, я докажу им всем! Завтра я буду спать так долго, как захочу, и никто не разбудит меня! Прощай, Рыжая, мы лучшие друзья на свете, и я никогда не забуду тебя! Я знаю, что дружба существует, и это навсегда!"

Так она очутилась в Зоосаду вместе со своим отцом. Теперь я видела другие записи, в них больше не было детского восторга и детского ужаса. Леда стала какой-то сдержанной, безжизненной. Словно бы то, о чем она так мечтала, вовсе не обрадовало ее.

"Я всегда чувствую себя голой. Все так просматривается. Я хотела бы залезть под одеяло и больше не вылезать. Здесь столько красивых вещей, но они не радуют меня."

Орфей как-то говорил, что жизнь в неволе имеет ряд преимуществ, но не является полноценной. Он тосковал здесь сильнее меня. Еще мне вспомнилось, как Орфей сказал, что мы пытаемся уложить тварей в свое сознание, приписать им функции вроде предельной рациональности. Но на самом деле это тоже наша черта. Весь неземной холод, который мы им приписываем — гипертрофированное радио, встречающееся у человека. Пытаюсь

оправдать свои проекции, мы упускаем суть. Я знала, о чем говорит Орфей. Он сам был даже излишне отстранен и рационален (хотя и не всегда). Разум, как и чувство, был присущ человеческому. Каждый человек был точкой в этой полярной системе координат, и эти точки могли находиться друг от друга на невероятном, кажущемся бесконечном расстоянии.

Но они все же располагались между двумя осями. Тварей в этой системе не существовало.

Леда сути не упускала.

"В них есть нечто такое, чего я не могу описать. Я пыталась подобрать слова, но они кажутся какими-то пустыми. Словно для этого вообще нет слов."

— Ты что плачешь? — спросила Андромеда. Я кивнула, готовая ответить, если она спросит еще что-то, отвлеклась от альбома, но Андромеда только возвела глаза к потолку. Я переворачивала страницы. Записи были маленькие и читались быстро, однако в них была человеческая душа, которую невозможно было объять.

Следующая запись, которая испугала меня, была совсем-совсем короткой.

"До свиданья, папа".

После нее долгое время ничего не было. Затем я увидела машинописную брошюрку, некоторые буквы расплылись, и я подумала, что Леда держала ее в теплых, дрожащих руках много-много раз. Плохой краской на плохой бумаге были напечатаны такие слова:

"Если уж мы решили бороться, то нам нужна невиданная прежде война. Война, которой мы не знали. Мы не привыкли так драться, мы не привыкли сражаться с противником, который ни в чем с нами не схож. Не привыкли упускать из виду очевидные вещи. И мы четыре тысячи лет не можем к этому привыкнуть! Теперь давайте подумаем, что у нас есть? Кучка напуганных голодающих бедняков на Свалке? Кучка гребаных эстетов в замках из стекла, бетона и плоти? Это теперь человечество. И мы должны посмотреть на него без иллюзий. Ты, мать твою, обернись и посмотри на тех, кто окружает тебя. Они способны сдохнуть, пытаясь. Но они не способны победить. И что теперь? Вот они, люди, со всей их чертовой цивилизацией, ничто из этого, оказалось, ни гроша не стоит. Вместо того, чтобы прятать голову в песок, давайте подумаем, что еще у нас есть?"

Человечество с обеих сторон одинаково слабое и ничтожное.

И? И? Всегда должно быть еще что-то. Так что еще?

Спящие."

Текст становился все более нервным. Буквы дрожали у меня перед глазами от движения, и это помогало озвучивать текст. Казалось, он кричал мне:

"Спящие — это человечество внутри них. Это люди, живые люди, и давайте не списывать их со счетов. Если спасение и придет к нам, то не от нас, озабоченных выживанием или тем, как получше смазать краской холст. Там, внутри множества этих существ, Спящие ждут своего часа. Они — болезнь, которая поразит этот вид. Вы видели, чтобы они носили кого-либо еще? Вы видели, как те, кто прилетает из космоса, носят других разумных существ, словно костюмы? В нас что-то есть, что-то позволяет им проникнуть внутрь, но на самом деле это мы проникаем в них. Представьте себе человека, который пробудится внутри. Это то, на что можно поставить все деньги, за что можно отдать голову, зуб и глаз. Не-живой король. Когда он придет, мы встретимся с ними, как равные. Человечеству дан путь вперед. Мы не можем победить их, но мы поглотим их. Убивший дракона — сам становится драконом. Помните об этом! Помните об этом, когда видите Спящих, и ждите своего Не-живого Короля. Как это случится? Когда это случится? Мы не

знаем. Рыцари приблизят этот день, если смогут. Смотрите по сторонам и будь смелыми, а теперь — спокойной ночи."

Текст, казалось, к концу совсем потерял связность, но я понимала, как он мог работать. Кто-то когда-то произнес его, и он жил теперь не совсем как текст, но как речь. Тот, кто говорил это, обладал харизмой. Я представляла рев толпы, ослепленной новой надеждой.

Орфей говорил мне, что основная логическая ошибка заключается в том, что всем нам кажется, будто увидев все пространство, мы можем увидеть реальность как таковую. На самом деле широта взгляда часто мешает понять суть.

Я постаралась сосредоточиться не на словах, а на том, что этот человек хотел донести. Спящие. Спящими он называл таких, как мой Орфей.

Под текстом стояло имя. Ясон. Я не знала никакого Ясона. Стояла и дата. Эта речь была произнесена два года назад. В самом низу была нарисована летающая тарелка, схематичная, как кустарная татуировка.

Все это было очень странным. Ясон говорил, как военный, но и как религиозный проповедник. В нем не было ничего от бунтовщика, потому что он с самого начала признал, что проиграл. В то же время ни в ком прежде я не видела такой воли. Он думал о Спящих. Прошло два года с тех пор, как Ясон говорил с людьми об этом. Теперь он мог знать. Речь его, по крайней мере, звучала многообещающе.

Не-живой Король.

Спящие.

Рыцари.

Романтический сленг для тех, кто отринул любую другую надежду, кроме сказочной. И в то же время эти слова имели огромную силу. Леда сохранила эту брошюрку, и теперь ее хотела сохранить я.

Перевернув страницу, я обнаружила, что Леда снова начала писать. Теперь передо мной был почерк взрослой женщины, аккуратный, но чуточку нервный. Я обрадовалась, словно встретилась со старой знакомой. Но меня тут же настигло разочарование. Текст превратился в бессмыслицу. Я видела буквы и цифры, и случайные слова. Предложения выглядели так, словно кто-то вытащил мысли из головы Леды и хорошенько смешал их в блендере.

"!никогдаНИКОГДА.34.тепло."

Меня замутило, не то оттого, что мы въехали на второй уровень Зоосада, не то из-за потаенного отвращения к написанному. Орфей мне говорил, что у меня очень нежное отношение к глубинному синтаксису. Бессмыслицы было много, страница за страницей была забита убористым почерком Леды, которая записывала тошнотворные гибриды из цифр, слов и знаков препинания.

"у стола.48.!.принесиаадададдаададДА".

Я подумала, она сошла с ума, и, наверное, потому умерла. Я водила пальцем по тексту и думала, что бы сказал Орфей. Ответ пришел ко мне, словно Орфей сидел рядом со мной.

Это был шифр. Но чем дальше, тем тревожнее казались мне эти записи, скрывающие что-то. Жуткая пародия на человеческий язык. Наверное, ее хозяин думал, что Леда пишет о том, как проходят ее дни.

Последняя запись снова была человеческой и очень короткой.

"Папы больше нет".

Она написала это совсем недавно, а затем убила себя. Я все поняла, не про записи, но про Леду. Она наверняка была связана с Ясоном, к примеру, искала сведения для него, а

потом тварь убила ее отца, быть может, даже случайно.

И все это потеряло для Леды смысл. Я закрыла дневник, а брошюрку сложила и сунула в карман. Мы почти приехали. Оставшееся время я смотрела в окно, думая о том, что сделала бы на ее месте я.

На этот раз никто не ответил мне.

Андромеда быстро припарковалась, открыла дверь в свою ячейку и зашипела:

— Быстрее, вылезай из машины и помоги мне.

Я сделала, что сказано. Ио теперь была теплой, но я знала, что нам нужно зашить ее рану.

Ячейка Андромеды казалась изумительно простой по сравнению с квартирами художников. Ее не коснулось ни дыхание прошлого, ни определенный национальный колорит. Казалось, Андромеда так устала, что даже яркие цвета могли заставить ее голову болеть. Все было бежевым и серым, таким простым и аккуратным. Андромеда могла позволить себе больше, но, кажется, ее так все раздражало, что она даже не могла понять, каким образом хочет жить.

Я знала про Андромеду кое-что, чего она сама о себе не подозревала. Я никогда не понимала, как ей об этом сказать, чтобы не обидеть, ведь ее все обижало.

Андромеда была так чувствительна, что ей всегда было больно. Но она и понимала о мире больше, чем многие другие люди. Словно все, что должно было быть глухим и серым, в ее мире было предельно обострено. У Андромеды был талант чувствовать, ощущать, и оттого она никогда не отказывала в помощи. Андромеда знала, каково другим людям, и ее внешняя раздражительная эгоистичность скрывала нежную, трепетную натуру, и страшную участь человека, не умеющего убавить громкость мира.

— Ты очень хорошая, — сказала я. — Спасибо тебе, что ты есть.

— Благодарить будешь потом, — сквозь зубы процедила она. Мы положили Ио на кровать, и Андромеда принялась ее раздевать. Я сказала:

— А это обязательно? Может, она стесняется.

— Я врач, Эвридика.

— Прошу прощения. Просто я подумала, что это все очень неприлично выглядит.

— Ты предлагаешь оставить на ней платье, чтобы соблюсти приличия, и шить как придется? Эвридика, помолчи и делай все, что я тебе скажу.

Я кивнула. Мне хотелось сказать "да, конечно", но я не стала, потому как говорить было ровно противоположно тому, чтобы молчать.

Хотя не всегда. Иногда мне казалось, что я говорю и молчу одновременно. Когда слова ничего не значат, они становятся легкими и словно не имеют веса. Тогда кажется, будто их и вовсе нет.

Я выполняла все, что говорила Андромеда, хотя меня и мучило от крови. Она зашивала на бедре Ио длинную рану.

— Артерия не была задета. Ей повезло.

Я смотрела на расprostертую на диване Ио, и сомневалась, что ей повезло. Кожа ее, несмотря на "Красную капитуляцию", была бледной, но уже не смертно, не жутко, а по-человечески. Ио была похожа на "Олимпию" Мане, и белые простыни так красиво контрастировали с зарождающимся теплом ее кожи. Я увидела над ее подвздошной косточкой татуировку. Летающая тарелка, как на брошюрке. Я не стала раскрывать брошюрку, чтобы сравнить, ведь руки у меня были в антисептике, и мне не хотелось пачкать

их. Но я отлично помнила каждую черточку в этом нехитром рисунке.

На теле Ио он повторялся полно и с точностью. Конечно, она была связана с Ясоном, и вот почему Ио взяла дневник.

— Слушай, — сказала я, пока игла Андромеды орудовала внутри раны Ио. — А почему ты не интересуешься всей этой историей? Хочешь покажу брошюрку, там глава странной секты призывает к странному.

Андромеда вздохнула.

— Я ничего не хочу знать. Понятно? Мне не интересно.

Я подумала, что ей очень интересно. Но она вправду не хотела ввязываться в такую историю. Я передала Андромеде ножницы, положила их в ее требовательную руку. Мне казалось, что я медсестра из фильма про больницу, и мне нравилось быть такой серьезной и ответственной. Я сосредоточила все свое внимание на Ио и Андромеде, а потом оказалось, что я помню лишь вязкую кровь, и стежки, и противный звук, сопровождающий иглу, выходящую из кожи.

Когда Андромеда промыла рану, она перестала казаться такой страшной. Если сначала это была жуткая распахнутая пасть, то теперь она закрылась.

— Шрам останется в любом случае, — сказала Андромеда. — Шить нужно было раньше.

— Думаю, у нее не было возможности.

Мы смотрели на спящую Ио, и мне казалось, что мы с Андромедой ее родители, а она — младенец. Наверное, так бывает, когда спасаешь жизнь человеку. Хотя, если рассуждать с точки зрения функциональности и пользы, я мало сделала такого, что спасло Ио. Я обняла Андромеду.

— Спасибо тебе, ты спасла человека!

— Убери от меня руки! Ты же в крови!

— Только немного, из-за ножниц!

Андромеда отправила меня в ванную, а затем — мыть салон машины. Это было скучное, но одновременно с этим воодушевляющее занятие. Я могла подумать. Значит, был такой человек — Ясон. Он называл людей, поглощенных тварями, Спящими. Он ждал чего-то от них. И говорил другим тоже ждать. Он мог что-то знать, и Леда писала зашифрованные послания для него, пока не поняла, что ее отцу больше нельзя помочь.

Вот почему Ио пришла сюда. На ее теле татуировка, безупречно похожая на рисунок в конце брошюры. Ио должна была передать все Ясону. А я должна встретиться с ним.

Когда салон показался мне достаточно чистым, я вдруг вспомнила, что Полиник и Семьсот Пятнадцатая должны были, наверное, давным-давно освободиться. Я заглянула к Андромеде, сообщила, что машину оставила в почти первозданном виде. Затем я зашла к Ио. Она спала, мы с Андромедой накрыли ее одеялом, рядом с ее кроватью стояли батареи пузырьков с таблетками и лежали поля серебристых блистеров. В графин с водой окунулся кусок солнца. Ио была похожа на маленькую девочку с большой температурой.

Я сказала:

— Пока, Ио, мы встретимся вечером. Я обязательно тебя навещу.

Я положила дневник ей под подушку, аккуратно, так, чтобы не потревожить ее сон. Брошюрку я оставила при себе.

Андромеда сидела на кухне и пила кофе.

— Ты же куда-то опаздывала, — сказала я.

— Я уже безнадежно всюду опоздала.

В этом предложении была какая-то экзистенциальная тоска, поражение в битве с ветряной мельницей времени. Я сказала:

— А ты вечером никуда не опаздываешь? Я хотела бы навестить Ио. Ты ведь не будешь против?

— Брось говорить так, как будто ты леди. Все равно ты заявишься сюда без приглашения.

— Это значит "да"?

— Это значит "вполне возможно".

Когда Андромеда закрыла за мной дверь, я подумала: хорошо, что она не налила мне кофе. Ведь у меня тоже совсем нет времени.

Мне было очень легко, потому что Ио была в безопасности, а я на шаг приблизилась к человеку, которого искала все это время и сама не знала об этом. Ясон. Какое странное и забавное имя. Человек, ушедший в море, чтобы совершить невозможное, и вернувшийся живым.

Мне понравилось думать о Ясоне, как о предводителе аргонавтов. Пусть все считают, что его погубит путешествие, но в самом конце он справится. И пусть его ждет нечто еще более страшное, чем смерть в непокорных волнах, некоторое время он будет победителем из победителей.

Я мечтала о том, что увижу его, и он скажет мне, как разбудить Орфея. Я напевала песенку, идя между рельсами автодороги и более узкой пешей тропинкой на этаже инженеров. Здесь стекло казалось толще, в нем не было той слезливой прозрачности, которая отличала наш этаж. Небо всегда казалось серым и дождливым. Машин было больше, ячеек тоже. В целом, наверное, это место вполне можно было считать пригородом для белых воротничков, где никогда не происходит ничего страшного. Мужчины и женщины в строгих костюмах работают, специально обученные люди следят за их детьми.

Затем дети вырастают и, если не могут найти своего места в жизни, отправляются на Свалку. словно неподходящие вещи. Там эти дети, вернее, к тому времени уже молодые взрослые, часто прощались с жизнью в первые же недели. Им было сложно адаптироваться не только к нищету, полулегальному существованию, но даже к самому воздуху снаружи.

Андромеда говорила, что именно поэтому она никогда не заведет детей. Ей не хочется растить человеческое существо, чтобы отправить его на погибель. Люди снаружи вымирали. Это было правдой, от которой нельзя скрыться за непрозрачным стеклом. Сто Одиннадцатый называл "Происхождение видов", главную книгу девятнадцатого века, руководством по разведению земных существ. Он говорил, что однажды неспособных людей не останется, и у меня никак не хватало духу объяснить ему, что Свалка не место, где влачат свое существование бесталанные люди, а мир, где пытаются выжить такие же субъекты, как я или Гектор, которым повезло чуть меньше.

Что все это так не работает, и искусство не кодируется наборами генов, им нельзя и измерить человеческую душу.

На все вопросы у них были слишком простые ответы.

Я приложила большой палец к панели сканера рядом с лифтом, посмотрела блеснувший зеленый сигнал и вступила в стерильно-серебристую полость лифта. Пришло время возвращаться к Полинику и Семьсот Пятнадцатой, хотя мне и не хотелось ее видеть. В ней было нечто нестерпимо отвратительное. Я шла так долго, что в голове стало светло и просторно. Казалось, теперь там поместится намного больше мыслей.

В кармане грелась теплом моего тела речь Ясона. Орфей всегда закрывал дверь два раза. Он был просто чудо каким суеверным, казалось все иррациональные чувства, все присущие человеку страхи, ушли в эти ритуалы. Иногда я спрашивала у него, зачем ему закрывать двери два раза, или ходить кругами под самым солнцем, или кивать определенное число раз. Таких примет ведь даже не существовало.

Орфей говорил, что таким образом он пытается предотвратить статистически почти невероятные вещи.

Я не понимала, как это работает, но верила его расчетам. Статистически маловероятные вещи с нами никогда и не случались, если не считать того, что на свет появились именно мы, а не любые другие потенциальные дети мамы и папы.

Теперь я понимала Орфея, как никогда. Я шла, все время выставляя вперед одну ногу, и клялась себе, что если смогу выдержать это до конца пути, Ясон поможет мне освободить Орфея. Я не совсем верила в это, но и бесплодной фантазией не считала.

Я добралась до ячейки Полиника (и Леды), когда уже стемнело. За окном на ясном, темно-синем небе, высыпали симпатичные, острые кристаллики звезд. В сущности, для далеких звезд ничто и мы, и наши хозяева, и все сложные и запутанные отношения между нами. Я позвонила, и мне открыл Полиник. Вид у него был словно еще более изможденный, чем прежде, как если бы его неведомая болезнь прогрессировала каждый час. Он прижал руки к лицу, словно пытался проснуться, помассировал веки и сказал:

— Привет.

Я улыбнулась ему.

— Здравствуй, Полиник. Я тут немного разобралась с проблемами.

— Проблемы в порядке?

— Да, проблемам уже лучше.

Он явно немного расслабился, выглядело это так, словно Полиник сейчас в обморок упадет.

— Хорошо. Но ты очень вовремя, потому что Семьсот Пятнадцатая начала злиться два часа назад.

Несмотря на абсурдную формулировку, я понимала, о чем Полиник говорит. Для них время шло по-другому, раздражение их могло накапливаться даже столетиями. Я не была уверена, но подозревала, что Сто Одиннадцатый мог все еще злиться на меня за проступки, совершенные в детстве. Все их эмоции были неопределенно протяженными и оттого не слишком интенсивными. Хотя, я была уверена, Семьсот Пятнадцатая пыталась быть человечнее самих людей. Я услышала звон посуды.

Да, я была права, Семьсот Пятнадцатая что-то крушила.

Я прошептала:

— Мне кажется, я кое-что нашла в дневнике Леды.

Полиник наклонился ко мне, но в этот момент в проходе появилась Семьсот Пятнадцатая. Ее шатало из стороны в сторону, как будто мы были на палубе яхты, и начался шторм. Даже от взгляда на нее кружилась голова.

— Ты пришла невовремя. Невовремя пришла. Потеряться. Нет. Нет. Нет.

— Прощу прощения.

В руках у Семьсот Пятнадцатой был стакан, и она неловким движением бросила его на пол, словно была актрисой, которой явно больше никогда не достанется главная роль. Ее расфокусированный взгляд скользил по мне, но она не видела меня так, как люди. Семьсот Пятнадцатая словно бы с трудом выхватывала меня из сплошного потока впечатлений, как кит выхватывает планктон. Ее не слишком ровно покрашенные губы приоткрылись, и она сказала:

— Первая сказала, чтобы гулять. Одиссей. Гулять. Выгуливать. Поводок. Мальчик.

Я нахмурилась. Был в этом мире человек, которого я хотела бы встретить меньше всего на свете.

— Но хорошая новость, — сказал Полиник. — Он присоединится к нам в кафе.

— Наверное, ждет. Я жду. Ждали. Ждала. Эвридика пришла. Идем.

Она сделала шаг, непропорционально широкий, и мне показалось, что ее ноги сейчас разъедутся в разные стороны, как у куклы. Мне хотелось засмеяться, но Семьсот Пятнадцатая была дочерью повелительницы Галактики, так что я сдержалась.

Когда мы вышли, само собой сложилось, что Семьсот Пятнадцатая шла между нами, она заваливалась то в мою сторону, то в сторону Полиника, так что мы производили впечатление очень пьяной компании. Изредка мы с Полиником кидали друг на друга сочувственные и нетерпеливые взгляды. Нам так нужно было поговорить.

Еще меня занимал такой вопрос: почему она выбрала кафе? В конце концов, Семьсот Пятнадцатая не могла есть. Я никогда не видела, чтобы Сто Одиннадцатый, даже в теле моего Орфея, съел хоть кусочек. Казалось, еда не вызывала у него никакого любопытства, и нашей способности получать удовольствие от вкуса пищи он не завидовал.

В конце концов, моя планета была его пищей. Как желать большего?

Семьсот Пятнадцатая же говорила:

— Маленькие пирожные, маленькие пирожные, мясные пирожные, маленькие пирожные.

Она повторяла это всю дорогу, с особенной, почти шаманской ритмичностью. Только когда перед нами загорелась вывеска кафе, я поняла, что Семьсот Пятнадцатая пыталась напевать. По-человечески.

Однажды я слышала, как они поют на своем языке, или делают нечто похожее. Они собирались все вместе, по неясной мне причине, во время, которое для меня ничего не значило, и издавали звуки, разносившиеся по всей земле, над Зоосадам, и вниз — к Свалке. Я слышала их со всех сторон — песни тварей приносил мне ветер. И я понимала, что в каждом уголке мира сейчас все представители их вида занимаются одним и тем же.

А, быть может, и в каждом уголке Вселенной. Это было отдаленно похоже на песню китов. Может, они протягивали эту песню друг другу, как символ единства, и она была слышна им повсюду. Сто Одиннадцатый не стал отвечать на мои вопросы, должно быть, это было таинство.

Над кафе горела лиловая, неоновая вывеска. Оно называлось "Бестелесный Джек". Это был американский дайнер, всегда готовый к Хэллоуину. Я единственный раз бывала здесь прежде, и тогда цвета показались мне слишком яркими, а персонал излишне общительным. У меня тоже было любимое кафе в нашей части Зоосада. Оно называлось "Париж-столица девятнадцатого века". Во-первых я любила это кафе потому, что его озаглавила цитата из Вальтера Беньямина. Во-вторых, там подавали чудесные пирожные с конфитюром, они были такие красивые, нежные и вкусные, что могли бы стать смыслом моей жизни, если бы Орфей не попал в беду.

Синее неоновое привидение, похожее на каплю с большими, удивленными глазами, сияло на витрине. В "Бестелесном Джеке" всегда было шумно и по-особому, суетно празднично. Разодетые в костюмы монстров официанты сновали с блюдами в лучшем случае похожими на нечто тихо скончавшееся. Мы с Орфеем пришли сюда один раз, и он заказал шоколадный торт, похожий на кусок грязи с копошащимися в нем розовыми, мармеладными червями. Они были клубничными.

Тогда я сказала Орфею, что, вероятно, мы не могли принадлежать американской культуре. Он сдержанно согласился.

И в то же время я не могла не признать, что у "Бестелесного Джека" есть свое, особое

обаяние. На стенах я увидела липкую резиновую паутину, за спинки стульев хватались пластиковые руки скелетов, словно бы отодвигавших стулья для гостей (или вместе с гостями). Всюду громоздились наполненные сладостями тыквы с глупыми, зловещими улыбками и острыми треугольными глазами. Верхняя половина тыквенной головы всегда была срезана, словно этим несчастным существам провели трепанацию. С плакатов на меня смотрели монстры из старых фильмов: Франкенштейн, Дракула, Тварь из "Черной Лагуны". Мумия. Все они кривили страшные рожи, распахнутые рты были хищны или наоборот беззубы, что, в конце концов, казалось одинаково страшным. Были и маньяки с разнообразным, ставшим их символом, оружием — длинными железными когтями, кухонными ножами, мачете, крюками. Было много разнообразия и дешевой искусственной крови.

Неоновые привидения висели над каждым столом. Если нажать на глаз такому, можно было вызвать официанта.

Одиссея я увидела сразу. Он сидел за столиком один, хотя в кафе было полно народу. Казалось, вокруг него сама по себе образовалась пустота. Одиссей игрался с ножом. Перед ним была пустая тарелка в пятнах кетчупа. Одиссей выглядел очень сосредоточенным. Он положил руку на тарелку, и лезвие ножа путешествовало между его пальцами. Он был недостаточно острым, чтобы причинить боль, зато Одиссей был достаточно ловок, чтобы ни разу на моих глазах не попасть себе ножом по пальцам. Он непрерывно облизывал губы. И я подумала: надо же, маньяк в кафе, посвященном маньякам. Над ним был плакат с Фредди Крюгером. Реальность и вымысел несколько отличались друг от друга. По сравнению со своими кинособратями Одиссей казался совсем неприметным.

И куда более жутким.

Когда мы подошли, он откинулся назад, облокотившись на пухлую спинку кожаного диванчика.

— Ну и долго же пришлось вас ждать!

Я пропустила Семьсот Пятнадцатую, чтобы она сидела прямо перед Одиссеем и смотрела в его странные, пугающие глаза. Одиссей широко улыбнулся, схватил меня за руку:

— Очень рад тебя видеть, Эвридика.

Я кивнула ему, потому что не могла сказать "я тоже". Я вообще ничего не могла сказать. У него оказалось очень неприятное прикосновение. И я подумала, что хотелось бы разве что закричать ему "Ты ударил Ио ножом, я все знаю!".

Вместо этого я только улыбнулась ему уголками губ и подтянула к себе меню. Мне предлагали насладиться "сахарным черепом Кристи" и "рагу из Хрустального Озера", и "призрачным желе", и даже "жареными пальцами путешественника". Выбор был очень большой, и когда я прочитала все, у меня сложилось впечатление, что я досмотрела глупый фильм. Все названия были нелепые, забавные и очень длинные.

Я остановилась на "сахарном черепе Кристи" — десерте из сахара и сиропа, и "жаренных пальцах путешественника" — картошке фри.

К нам подошла милая официантка в костюме окровавленного кролика, в котором ей явно было жарко. На поясе у нее болтался резиновый нож. Одиссей смотрел на нее, взгляд его скользил по ее покрасневшему лицу.

— Уже что-нибудь выбрали?

Мне совсем не понравился взгляд Одиссея, и я громко сказала:

— Вы знаете, он — серийный убийца. Это его искусство. И мне кажется, он вас

приметил. Будьте осторожны и не ходите в одиночестве.

Полиник постучал кулаком о свой висок, Семьсот Пятнадцатая громко и неумело засмеялась, а Одиссей остался спокоен. Он откинулся назад и облизнул губы, смотря на меня. Я едва заметно улыбнулась.

Девушка не знала, как реагировать, и смотрела в пол. Может, она подумала, что я так шучу. Однако, когда мы заказали еду, девушка кинула на Одиссея испуганный взгляд. Это было хорошо.

Семьсот Пятнадцатая сказала:

— Порцию Принцессы.

— Мы уже знаем, Семьсот Пятнадцатая, — кивнула девушка. — Все кафе Зоосада ждут вас.

И я подумала, неужели у нее есть собственное меню?

Пока нам не принесли заказы, мы молчали. Кажется, Семьсот Пятнадцатую это не смущало, а Одиссей забавлялся. Мы с Полиником ничего веселого в происходящем не находили. Играла задорная музыка, так что Одиссей принялся покачивать головой в такт.

Когда принесли картошку фри, я обрадовалась и принялась сосредоточенно макать кусочек в соусницу, сделанную в форме ванной, так что кетчуп смотрелся в ней, как кровь.

— М, — сказала я. — Еда. Люблю есть. Вы тоже?

Одиссей и Полиник кивнули. А Семьсот Пятнадцатая захлопала в ладоши.

— Обожаю. Обожаю.

Перед ней стояла крохотная, словно бы кукольная, малиновая тарелочка.

— Но как же вы едите, Принцесса? — спросила я. Семьсот Пятнадцатой явно льстил человеческий титул.

— Немножко. Опустошать желудок. Тошнит. Два пальца под язык. Розовая ванная. Розовая еда.

Перед ней действительно было нечто похожее на суфле, покрытое сиропом. Из этой крохотной розовой тарелочки Семьсот Пятнадцатая черпала кукольной ложечкой кусочки, которые занимали лишь половину ее пространства. Она долго держала суфле во рту, и вид у нее всякий раз был одинаково удивленный, как у ребенка, который впервые пробует сладость. И хотя гримасы на ее лице смотрелись неестественно, мне хотелось сделать ей комплимент, потому что она явно старалась произвести на нас впечатление. Показать себя человеческой.

— Вы так удивлены, — сказала я.

— Узнала. Угадала.

Губы ее раздвинулись в улыбке. Я посмотрела на Одиссея, затем на Полиника. Никто из них не желал помочь мне вести разговор с Семьсот Пятнадцатой. Я сказала:

— Первая вас, наверное, очень ценит.

— Мать. Матерь. Мамочка.

Семьсот Пятнадцатая, конечно, не оказалась собеседницей, о которой я давно мечтала. За счет заведения нам принесли молочные коктейли с клубничными разводами и мармеладными глазами. Я тянула сладкую жидкость через свою спасительную соломинку и молчала. Полиник и Одиссей следовали моему примеру. И я подумала, что даже Одиссей боится сделать или сказать что-то не так.

Я сказала:

— Знаете, мне всегда было интересно, кто живет на других планетах. Какие существа?

Первая, должно быть, рассказывала вам о тех, кто населяет другие планеты.

— Скучные. Общий разум. Гиганты и насекомые. Леса на больших животных.

Мои воображение тут же рисовало картины: и растущие из китов деревья, и крохотных насекомых и гигантских, странных зверей. Все это вовсе не казалось мне скучным.

— А она рассказывала, чем люди отличаются от других разумных рас?

— Искусством, — ответила Семьсот Пятнадцатая. — Нравятся нам. Отличаются.

Мне казалось, что Семьсот Пятнадцатой приятно, что я расспрашиваю ее. Она сказала:

— Другие — непохожи. Грибы. Темнота.

Полиник, наконец, решил мне помочь.

— А у кого-то были, например, компьютеры?

— Все разное. Всегда разное. Вариант. Вариант. Вариант. Много. Никогда не понять.

— А что до вас, Принцесса, вы ведь однажды создадите свою колонию.

Тогда она ударила меня по щеке. Одиссей засмеялся, а мне снова стало очень обидно, а кроме того еще и стыдно.

— Я не хочу, — сказала Семьсот Пятнадцатая. — Любить. Любить Землю. Земля планета. Здесь. Дом. У меня — дом.

Кажется, она больше не злилась. Или не злилась вовсе, но посчитала, что человечно было бы оскорбиться. Я обиделась, мне стало совсем неуютно, и я отвернулась к окну, по которому проходились неоновые брызги всякий раз, когда вывеска загоралась. Прямо надо мной была белая, резиновая паутинка, на которой висел пластиковый паук.

Мисс Пластик. Леда. Ио.

Ясон.

— Поговорим о газировке, — объявила Семьсот Пятнадцатая.

— Она вкусная, — сказал Полиник.

— Пенится, если ее встряхнуть, — добавил Одиссей. Я вздохнула и сказала:

— Мне нравится вишневая.

Семьсот Пятнадцатая с восторгом наблюдала за нами. Кажется, она чувствовала себя в компании. Ей нравилось ощущать нашу общность, потому что мы говорим, обмениваемся словами. Она не понимала, что каждый из нас не хотел бы быть здесь. Мне стало очень ее жаль, от этого даже перестало жечь щеку.

Принесли десерт, и я принялась ковырять его ложкой. Семьсот Пятнадцатая сказала:

— Вселенная большая. Знаю. Интересно. Много там почти похожих. Жизнь позже или раньше. Много не таких. Все есть. Ничего нет.

— Ты имеешь в виду "ничего нет, чего бы не было"? — спросил Полиник. И я удивилась, как он умудряется называть ее на "ты". Конечно, я тоже иногда говорила со Сто Одиннадцатым спокойно, но он не был приближен к Первой, а о ней я даже думать не могла без трепета.

— Эвридике грустно, — сказала Семьсот Пятнадцатая и вдруг чмокнула меня в макушку. Губы у нее были только чуть теплые. Исмена, подруга Полиника и, без сомнения, его любимая, спала крепким сном, не ведая о том, что происходит.

— Нет-нет, — сказала я. — С вами очень весело, Принцесса!

Одиссей сказал:

— Почему бы нам не поиграть в слова, а?

Мне казалось, он издевается.

— Я знаю, как, знаю, знаю, знаю. Семья!

— Янтарь, — ответила я. Интересно, а она вообще понимает, что такое семья? Они ведь, формально, все одна большая семья, множество братьев и одна единственная сестра.

— Рапира, — сказал Полиник.

— Где ты слово-то такое взял? — спросил Одиссей. Он снова засмеялся. Теперь Одиссей казался очень обаятельным.

— Да, Полиник, рапира — что?

— Это такая шпага.

— Шпага — что?

Семьсот Пятнадцатая упорствовала, и Полиник задумался.

— Это холодное оружие. Такая длинная металлическая штука. С острым концом.

— Чтобы протыкать ей людей, — сказала я, смотря на Одиссея.

Он прошептал мне, почти одними губами, и я удивилась, как услышала его.

— А ты настойчивая.

Семьсот Пятнадцатая тыкала вилок в суфле так, что я слышала, как она стучит по фарфору тарелки. Координация Семьсот Пятнадцатой была так нарушена, что она даже не могла без труда отделить вилок кусочек суфле. Но это была жизнь, за которую боролась Семьсот Пятнадцатая. Она была готова терпеть все ее лишения, лишь бы быть как мы.

Это говорил о людях нечто ценное, льстило.

— Продолжаем, — сказала я.

— Атлас, — Одиссей провел пальцем по столу, словно на нем была скатерть.

— Секуляризация.

— Ятрогения.

— Ястреб.

— Биполярность.

— Техника.

— Амфитеатр.

— Рекреация.

— Ясность.

— Тореадор.

— Ранение.

— Да! Так и знала! — вскрикнула я, и только тогда поняла, что мы с Одиссеем играли вдвоем, Полиник и Семьсот Пятнадцатая молчали.

— Забыли меня, забыли, забыли.

— Прошу прощения, Принцесса. Каково ваше слово?

— Ентарь.

— Янтарь, — поправила я. — И я уже называла его.

Она нахмурилась.

— Разве люди не придумали все слова? — сказала она неожиданно просто, и фраза получилась почти человеческой.

Еще некоторое время Семьсот Пятнадцатая ковыряла вилок суфле в крохотной тарелке. Оно пахло чем-то цветочным, а еще — чистым сахаром. Я смотрела на нее и думала, променяла бы я свою короткую, человеческую жизнь на ее вечное существование?

До определенной степени оно казалось мне лишенным всякого смысла. Семьсот Пятнадцатая сказала:

— Брат.

— Что?

— Брат. Сто Одиннадцатый. Твой брат. Станный. Математик.

Многие из тех, кто знал нас плохо, говорили про Орфея "тот эксцентричный математик", чтобы дать понять, о ком идет речь. Но Семьсот Пятнадцатая говорила странно, так что я не совсем поняла, о чьем брате речь — ее или моем.

— Мой брат, — повторила я осторожно.

— Какая тоска, — сказала она. Может быть, ей что-то рассказал Сто Одиннадцатый. В конце концов, история Орфея до определенной степени была схожа с историей Исмены.

— Не надо бояться, — сказала она. — Страшно. Бояться. Не больно. Исмена — не больно. Математик — тоже не больно. Лучше, чем тем, кто снаружи. Всегда лучше внутри. Хорошо. Почти не холодно. Не смешно.

— Что не смешно? — спросила я. И Семьсот Пятнадцатая вдруг сказала, и снова очень по-человечески:

— Так скучно.

Она напомнила мне Нину Блаунт из "Мерзкой плоти", в ней была та же обаятельная поверхностность, и в этом Семьсот Пятнадцатая достигла невиданных высот человечности. Она сказала:

— Надо освободить желудок. Не принимает пищу. Пока-пока. Надо идти.

И вот Семьсот Пятнадцатая снова разговаривала как смесь ребенка с чудовищем из фильма ужасов.

— Полиник, идешь.

Она потянула Полиника за руку, заставив встать, так, словно он был ее мальчиком, которого она вела целоваться. Я посмотрела им вслед, и они показались мне молодыми, радостными и пьяными. И вот я осталась вдвоем с Одиссеем. Формально, конечно, не вдвоем, народу было полно, но для меня наш столик был всем сущим и в то же время центром пустоты. Я смотрела на него, а он смотрел на меня. У Одиссея был обаятельный, какой-то рассеянный вид. Взгляд его все время блуждал, как будто нигде не находил ответа на незаданный вопрос. Я помнила такой же взгляд у Орфея. В детстве, когда нам было мучительно скучно и просто совершенно нечем заняться, мы играли в "где же вещь?". И я спрашивала его о том, чего не существует. Я спрашивала:

— Где же в комнате чайник, Орфей?

Взгляд его скользил по пространству, словно он не совсем осознавал, что чайника там нет и быть не может. Лицо его становилось каким-то странно мечтательным, словно он видел перед собой не чайник, но множество вероятностей его присутствия. Затем он улыбался и говорил:

— В данный момент чайника здесь нет.

Вот и Одиссей видел нечто, чего здесь в данный момент не было. А потом он вдруг взял меня за запястье, я дернулась, схватила пластикового паука, кинула его в лицо Одиссею. Мне стало жаль, что рядом нет Орфея, а я больше не маленькая девочка. Это значило, что я испытала страх. Одиссей поймал паука, ловкость у него была почти звериная. Одиссей не сжимал мою руку до боли, но и не отпускал меня. Он положил паука рядом с собой почти с нежностью.

— Ты очень цепкая, — сказал он.

— Не думаю, что сейчас мне подходит это прилагательное.

— Но я бы не советовал тебе портить мою жизнь здесь.

— А ты планируешь забирать чужие жизни?

Он засмеялся.

— Если я это сделаю, никто в целом мире не сможет защитить мою жертву, милая. Уж точно не такая очаровашка, как ты. А знаешь почему? Я умею делать это красиво, дорогая. Даже ты засмотришься.

Он не сказал "засмотрелась бы", чтобы напугать меня. Но я не собиралась показывать ему, что я могу отступить. Орфей всегда сражался за то, что считал правильным. И если от Орфея что-то в Зоосаду и осталось, то это — я.

— Знаешь, даже самые красивые вещи можно испортить. Это мне сказал Неоптолем.

Одиссей прижал палец к моим губам, в этом движении не было ничего сексуального. Наоборот, оно словно было обращено к хрупкому животному.

— Не слушай его, это глупый человек, пытающийся свести искусство к понятию.

Несмотря на то, что я всеми силами показывала, что мне не нравится Одиссей, мне казалось, что он относится ко мне с приязнью, по-дружески. В этом было нечто жуткое, нелогичное, и я то и дело проверяла свои ощущения, смотря ему в глаза. Но так и не находила ничего, что почувствовал бы нормальный человек.

— Мы ведь с тобой похожи, — сказал Одиссей.

— Не думаю. У тебя карие глаза, а у меня — зеленые. И я не убиваю людей, а ты...

— Однажды у меня тоже был кто-то, кого я любил. И я сделал все, чтобы вернуть ее. Ради этого я сошел с ума, я прошел сквозь ад, я уничтожил в себе все человеческое. И — ничего не получилось.

Он вдруг засмеялся, откинулся назад, на диванчик.

— А кроме того, во мне теперь столько пафоса, что хватит на небольшую театральную постановку.

Теперь уже я подалась к нему.

— Кто-то из твоих близких тоже был поглощен?

Но Одиссей смотрел на меня молча и с улыбкой. Словно я должна была сама обо всем догадаться. Я вернулась к своему десерту, разломила сахарное темя черепа, и оттуда плеснул горячий вишневый соус. Одиссей протянул ложку и поддел ей вишневую, вязкую жидкость, слизнул ее так, словно это и была кровь.

— Значит, ты делал это ради кого-то.

— Я не говорю, что был прав.

— Но ты делал это не потому, что ты хотел.

— Этого я тоже не говорю.

Каким-то образом при всей его чудовищности, при отсутствии каких-либо попыток ее скрыть, Одиссей оставался человеком исключительной внутренней харизмы, этого словно ничто не могло изменить. Я посмотрела на его расшитую золотом алую рубашку. Эта средневековая эстетика почти вытеснялась кричащим неоном "Бестелесного Джека", так что за ней я видела теперь человека моего времени, моего пространства.

Он бы хорош и изумительно несчастен.

В то же время он был опасен и абсолютно безумен. Человек без полутонов, он вызывал неприкрытое отвращение и непреодолимую приязнь. Одиссей коснулся пальцем своего виска. Лицо его казалось по-своему утонченным, даже интеллигентным, однако его глаза цветом, выражением, разрезом, выдавали свойственные этому человеку страсти, приведшие, в конце концов, к падению. Женщина, которую он любил, была ему не сестра и не мать. Я

осторожно спросила:

— И у тебя не получилось?

— А ты бы стала убивать людей ради своего милого братца?

Вопрос поражал бестактностью и каким-то странным участием, словно Одиссей был готов научить меня.

— Нет! Нет, потому что он не одобрил бы этого.

— Или нет, потому что ты боишься? Или нет, потому что ты не готова?

Вопросы были точные и болезненные, как иголки. Я посмотрела в сторону уборной. Мне хотелось, чтобы вернулась Семьсот Пятнадцатая. Никогда не думала, что буду скучать по ее компании. Но на один из вопросов Одиссея я могла ответить точно.

— Я никогда не стала бы жертвовать одним человеком ради другого. Потому что каждый человек — это целый мир. Я не стала бы отбирать у человека жизнь.

— И потеряла бы брата.

Тогда я сложила руки на груди.

— Даже если потеряла бы брата.

Орфей как-то цитировал мне одно мудрое, святое Писание.

— Пусть убьют тебя, но не приступи черты, — говорил он. Кто же знал, что эта заповедь понадобится мне в несколько искаженном виде. Орфей должен был сказать: пусть убьют меня, но не приступи черты.

Одиссей словно бы отвлекся от основной своей мысли, взгляд его стал острым, обжигающим, в нем не осталось никакой рассеянности.

— Но у меня была проблема другого толка. Мне ее отдали.

Теперь, казалось, он вернулся к основной линии повествования, и я поняла, отчего он ведет себя именно так, почему столь расфокусирован его взгляд. Одиссей скрывался от большой, почти непереносимой боли. Мне не стало жалко его, но, определенно, заслуживала жалости скорее та, которую он так любил.

— Я пытался согреть ее.

Он пытался вернуть мертвую. Одиссей сказал:

— Здесь ведь не курят, да?

Да и на Свалке курили только те, кому терять нечего.

— Не курят, — сказала я. — И ты не кури.

Он улыбнулся, обнажив белые, какие-то по-особому острые зубы.

— Она не была мертва. Не совсем. И жива тоже не была. В сущности, ничего не изменилось. Она лежала целыми днями и смотрела в потолок. От нее ничего не осталось. Знаешь, у человека есть многое: эмоции, воля, интеллект, память, мораль. И если отнять одно, останется остальное. Даже если отнять почти все, останется что-нибудь одно. Но у нее ничего не было. Она не была человеком в том смысле, в котором человеком является больной в стадии глубокой идиотии. Это очень чувствовалось. В ней не было ничего, ни малейшего движения жизни. Она была бессмысленной корочкой, запекшейся кровью. Мне было жаль на нее смотреть. Без посторонней помощи она могла только дышать. Я не знаю, каким был ее мир. Но, уверен, ни один человек без их вмешательства в таком мире не живет.

— И ты пытался дать ей...тепла?

Отчего-то я употребила именно это слово, хотя и не могла объяснить, каким образом выбрала его среди множества других. Одиссей посмотрел на меня очень внимательно.

— С чего ты взяла? Я просто хотел ее развлечь.

Он тут же засмеялся, даже прежде, чем меня накрыла оторопь.

— Шутка, — сказал Одиссей. Его пальцы нетерпеливо стучали по столу. Должно быть, он и вправду был заядлым курильщиком. — Все так. Я хотел дать ей тепла. Я использовал кровь.

— А органы?

— Да. Первая обратила внимание на побочный продукт. Отходы производства. Нужно же было с ними что-то делать. Мне просто необходима была отдушина.

Я молчала, и он молчал. Затем Одиссей сказал:

— Не шутка.

— Плохо.

— Я не хочу исповедоваться перед тобой. Просто тебе станет легче смириться с моим существованием, если ты поймешь.

Я понимала. И мне казалось, что Одиссея отчасти мог понять каждый живущий. Все мы боялись потерять кого-то или даже что-то так сильно, что, казалось, были готовы на все.

— Так что давай ты закроешь ротик. Ее больше нет. И я всеми силами пытаюсь сохранить свою жизнь здесь. Возможно, Первая не прикажет мне убивать. Но если прикажет, я сделаю все, чтобы мне было приятно.

Удивительные цинизм и безжалостность соседствовали в нем с обреченностью человека, попавшего в ловушку, изможденного и усталого, давным-давно проигравшего битву с самим собой и, по сути, исчезнувшего. И все, что в нем было: зловещее обаяние, резкие, рваные движения рук в сочетании с расслабленностью тела, горящие глаза, цепко глядевшие на меня — все было лишь отблеском, отголоском, слабым эхом того, кем Одиссей был раньше, прежде, чем выжжет свою душу.

Его невероятное путешествие уже подошло к концу.

Я сказала:

— Прости. Я правда не хотела задеть тебя.

— Ты не задела.

— И мне жаль твою...

— Жену.

— Как ее звали?

— Это уже совершенно неважно.

Теперь мы молчали. Я подумала, что сегодня вряд ли смогу поговорить с Полиником наедине, так что попросила у официантки ручку и тщательно перенесла на салфетку речь Ясона, чтобы передать ее Полинику. Я иногда смотрела на Одиссея, и черно-оранжевая полосатая ручка двигалась в моих пальцах словно бы сама собой. Диссоциация с собственным телом, такое бывает от страха. Я боялась его?

Он смотрел на меня, иногда взгляд его скользил по салфетке, но для него все буквы были перевернуты. Только одно он узнал безошибочно. Имя.

— Ясон? — спросил он.

— Ты знаешь его?

— Я знал.

Глаза Одиссея блеснули. Они вдруг показались мне светлыми, почти желтоватыми. Я посмотрела вокруг. Играла веселая музыка, и в центре зала танцевал парень с простреленной шеей (два куска пластиковой стрелы и много красной краски). Он явно был изрядно пьян, и я волновалась за его работу. К нему присоединилась другая официантка, девушка-вампир с

красными губами и пластиковыми клыками, она пыталась вытащить его с танцпола, но безуспешно, и он вовлек ее в свой дурацкий танец. Наверное, сегодня ему круто не повезло. Он веселился, но при этом выглядел отчаянно. Этот буйный молодой человек, умеющий веселиться несмотря на несовместимые с жизнью ранения (пусть и бутафорские), напомнил мне Одиссея.

— Откуда?

— Он пытался мне помочь. Но было уже очень, очень поздно.

Если Одиссей говорил "было поздно", значит имелось и некоторое абсолютно подходящее время. Я должна была его застать.

— Ты не знаешь, где он?

— Я видел его лишь один раз. Ясон — странствующий проповедник, он не задерживался на одном месте подолгу. Хотя разные слухи ходили. Кое-кто говорит, что он осел где-то неподалеку.

— Ты бы хотел снова увидеть его?

Одиссей покачал головой. Он снова потянулся ложкой к моему десерту. У него не было никаких понятий о личном пространстве. Наверное, когда убиваешь людей, стираешь границу между собой и другими. Это должно было накладывать отпечаток. Если уж Одиссей научился игнорировать право человека на жизнь, то право человека на десерт не имело для него никакой ценности.

— Так зачем ты напал на рыжую девушку?

Ложка его замерла над сахарным черепом, затем он без труда поддел испачканный сиропом осколок, положил его под язык, как леденец. Одиссей не спросил "какую девушку?" как в фильмах, не стал скрываться и скрывать.

— Иногда притяжение бывает нестерпимым, — сказал он. — Я и до сих пор вижу в каждой из таких шанс для нее. Даже если она давно лежит в земле. Если уж она лежит в земле, то отчего бы и им не лежать?

Искорки безумия в его глазах всегда были удивительно жуткими. И хотя Одиссей производил впечатление сумасшедшего, о нем легко было забыть, пока он не говорил что-нибудь особенно неправильное с интонацией, которая не оставляла сомнений в том, что он не понимает, почему это страшно.

— Но ты сдержался.

— Не совсем. Она хорошенько врезала мне. Если честно, я был впечатлен, но не собирался отступать. И она полоснула меня ножом по плечу. Моим ножом. Девушка мечты, не иначе! Видишь, я честен с тобой. Твоя очередь.

— А я с тобой нечестна.

— Ты как маленькая девочка. Думаю, тебе совершенно необходим старший брат.

Я подумала, что он спросит еще что-то об Ио, но Одиссей не успел. Мы увидели Семьсот Пятнадцатую. За ней уныло плелся Полиник.

— Извини. Прости. Простите. Заболталась с одной девушкой. Мы говорили. Шевелите языками. Слова. Она ругала Полиника.

— Потому что я был в женской уборной, Принцесса.

Семьсот Пятнадцатая смотрела на нас, и ее взгляд был невероятно внимательным. Она сказала:

— Обсуждать личное. Доверие. Ты и я. Я и ты. Люди говорят о личном. Сердце.

Я вздохнула. Интересно, как Семьсот Пятнадцатая мыслила? Откуда брались эти слова,

как они функционировали. Люди, говорящие на чужом языке, думают на своем. Но были ли у Семьсот Пятнадцатой вообще мысли в привычном нам понимании. Может, не речь, но образы, а может и не образы даже.

Она пыталась понять нас, а я пыталась понять ее. Надо признаться, у Семьсот Пятнадцатой было куда больше способов. Мне оставались мысленные эксперименты.

— Может, пойдем танцевать? — спросила Семьсот Пятнадцатая. И у нее вновь кое-что получилось. Я поймала себя на том, что болею за нее и радуюсь каждой маленькой победе Семьсот Пятнадцатой над ее природой.

Мы вышли на танцпол, чтобы составить компанию парню со стрелой в шее. Хотя масштабы были таковы, что танцполом этот небольшой пятачок перед барной стойкой назвать было сложно, и даже вчетвером (не считая того парня!) мы помещались на нем с трудом. Музыкальный автомат играл "Пляску монстров", известную песню начала шестидесятых. Слова были приятно-жутковатые, как сувениры к Хэллоуину, которыми полнился "Бестелесный Джек" в любое время года, но в голосе певца было столько обаяния и лоска, что эффект выходил странный.

Одиссей отлично танцевал, помимо звериной ловкости у него было отличное чувство ритма, и прекрасная пластика — все движения выходили мягкими и естественными. Даже несмотря на то, что песня вовсе не располагала к танцам, Одиссей двигался сообразно музыке. Семьсот Пятнадцатая танцевала смешно и страшно. Как человек, который сейчас умрет на танцполе.

А вот кто действительно готовился умереть, так это Полиник. Вид у него был унылый, и он переминался с ноги на ногу, даже это умудряясь делать не в такт. Я обняла его, и мы немного покрутились рядом, хотя Полиник и делал это безо всякого энтузиазма. Я сунула ему в карман салфетку с речью Ясона.

— Откроешь, когда будешь один, — прошептала я.

— Да, так мне сказала одна девчонка в день святого Валентина. Потом было очень унижительно.

Мы засмеялись. Я почувствовала, что Полиник стал моим другом, хотя суммарно мы провели вместе, должно быть, часа три. Одиссей за спиной Полиника крутил в разные стороны Семьсот Пятнадцатую. Под его надзором, управляемая его движениями, она почти не отличалась от человека. Мы с Орфеем никогда не умели танцевать, но делали это с удовольствием, когда никто не видел. На нас мог смотреть разве что Тесей, и хотя он всегда был критичен ко всему, кроме себя самого, Орфей не обижался, когда Тесей честно говорил, что мы — нелепые.

Наверное, поэтому мне нравилось танцевать с Полиником. Вместе мы тоже были нелепые. Я хотела бы рассказать ему о Ясоне и об Ио, но сейчас было нельзя. Я посмотрела на Одиссея и подумала, быть может, он отвлек Семьсот Пятнадцатую, когда забрал ее у Полиника, чтобы потанцевать, для меня. Он ведь знал, что мне нужно передать салфетку Полинику. Я посмотрела на Одиссея, затем на Полиника. Они представляли собой два крайних полюса одного спектра. Мне казалось, он называется "отчаяние". Я обняла Полиника, и он сказал:

— Немного попереминаемся с ноги на ногу? Музыка стала медленнее.

И вправду, музыкальный автомат теперь переливался по-другому и играл другую песню. Все стало синее и мелодичнее. Мы танцевали, и в отблесках неона Полиник вдруг показался мне Орфеем. Я широко улыбнулась ему, и на глазах у меня выступили слезы.

— Ты больше не стесняешься танцевать? — спросила я.

— Что? Очень стесняюсь, — ответил Орфей. Взгляд у него был непривычно грустный, и я крепче его обняла.

— Но мы всегда можем потанцевать в нашей комнате и совсем одни.

— Что? — повторил Орфей. Я улыбнулась.

— Представь, что мы дома, у Нетронутого Моря, и вот отчего все синее. Танцуем на пляже, чтобы скоротать время до ужина. Или представь, что Тесей играет свою музыку. Или что мы просто открыли музыкальную шкатулку. Стесняться совсем нечего.

— Мне, кажется, Эвридика, ты принимаешь меня за кого-то другого.

Я засмеялась.

— За человека, которому очень неловко оттого, что на него смотрят люди. А как ты будешь танцевать со своими женщинами?

Орфей бы сказал:

— Я выберу женщину без чувства ритма, и мы будем стесняться вдвоем.

Но вместо этого он отошел от меня на шаг. Тогда Орфей сказал:

— Я не Орфей.

И все закончилось. Я снова была в мире без него. Передо мной стоял Полиник, а чуть подальше — Одиссей и Семьсот Пятнадцатая. Они смотрели на меня, и выражения лиц у них были почти одинаковые. Что ж, Семьсот Пятнадцатая знала, что такое неловкость.

Должно быть, ее мама очень ей гордится.

Я сказала:

— Прошу прощения. Сто Одиннадцатый ждет меня, чтобы я почитала ему.

Никто не стал меня останавливать. Я знала, что мне повезло. Одиссей и Полиник не смогут отделаться от Семьсот Пятнадцатой так легко. Они вежливо, и не без зависти, попрощались со мной, а Семьсот Пятнадцатая долго смотрела мне вслед.

Затем она сказала:

— Будем еще танцевать.

Андромеда разрешила мне навестить Ио, и я знала, что спрошу сразу после того, как осведомлюсь о ее здоровье.

Я была как никогда близка к цели, и теперь темное небо казалось мне глазурию на большом пироге, который после мне достанется. Я прислонилась к стеклу и посмотрела вниз. Свалку было не разглядеть, но где-то там скрывалось мое спасение.

Я верила, несмотря на то, что сказал Одиссей. Мне только хотелось, чтобы Ясон оказался настоящим, реальным, человеком из плоти и крови, тогда мы обязательно сможем договориться.

У мисс Пластик ведь была надежда прежде, чем не стало того, кого она и хотела спасти. У Одиссея тоже не получилось. Потому что Одиссей не отличил живого от мертвого?

Я подумала: а могу ли отличить я?

И мой небесный шоколадный пирог вдруг оказался полным склизких червей. Люди шли мне навстречу, и я видела человеческую историю во всем ее позоре и блеске, нацистские штурмовики гуляли под руку с дамами полусвета времен Дюма.

Системы жизнеобеспечения теперь устроили нам прохладный, летний вечер со свежим ветерком, который должен был развеять тяжелые мысли. Я здоровалась с теми, кого знала, радостно приветствовала всякую жизнь здесь. Потом меня остановил Орест. Он поцеловал мою руку, и я сказала ему.

— Очень приятно.

— Сделать так еще раз?

Он обворожительно улыбнулся. У Ореста были глаза темные и притягательные, как шоколад, они обещали удовольствие и радость.

— И куда же направляется мадемуазель?

— Или барышня.

— Или леди.

Мы засмеялись. Я сказала, что иду почитать Сто Одиннадцатому, и Орест увязался за мной. Мне казалось, он любопытен больше обычного. Некоторое время мы разговаривали ни о чем, болтали о погоде и пирожных, и я все думала, отчего же Орест проявил ко мне столько интереса.

Наконец, я спросила напрямик. Мы проходили под луной, она была с правой стороны и так похожа на хрустальный шарик. Я сказала:

— Знаешь, обычно ты со мной не гуляешь.

— Потому что не надеюсь, что мы окажемся в одной постели.

— А я думала, потому что я — скучная.

Он улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой из всех. Орест всегда производил только хорошее впечатление. Казалось, он живет не напрягаясь, и не имеет никаких строгих мнений ни по каким вопросам, оттого никогда и ни с кем не конфликтует. Он ловко лавировал между всеми обитателями Зоосада и не враждовал ни с кем. Казалось, он не жил человеческой жизнью, а плыл по ее изменчивым волнам.

Но сегодня Орест казался каким-то слегка напряженным, не то прямее держался, не то взгляд его путешествовал по мне с каким-то затаенным, пусть и слабым, волнением.

Это было легкое колебание всегда спокойного озера, тонкие круги на воде. Но оттого и

волновало больше, чем ежедневный шторм Гектора.

Мы остановились так, что луна оказалась у нас над головами. Ее холодный, серебряный свет делал Ореста каким-то существом из восточных приданий, седым от времени рождений и времени смертей. В то мгновение он показался мне чудесным. Хотя момент был романтическим, а Орест хорошо их чувствовал, мы стояли за шаг друг от друга. Он словно что-то про меня знал, чего я не знала, оттого его ухаживания никогда не были чем-то большим, нежели игрой.

Я сказала:

— Тебя что-то заинтересовало. Или даже испугало.

В лице его было сложно уловить и тень этих эмоций. Орест оставался веселым, беззаботным сплетником с блуждающей улыбкой. Но я ведь чувствовала нечто, и я решила, что лучший способ узнать правду — спросить напрямую. Так много раз говорил Орфей, потому что я любила придумывать вещи, иногда просто для развлечения.

Орест сказал:

— Возможно.

Это слово он употреблял чаще, чем "да" и "нет". Оно оставляло ему известное пространство для маневра, и было по-буддистски неопределенным.

— Ты пошел за мной, потому что переживаешь, — продолжала я. — Или у тебя есть основания в чем-то меня подозревать.

Варианты вынуждали Ореста ответить мне хоть что-то определенное, по крайней мере, по моей задумке. Однако, он сказал только:

— Да, мои действия, наверное, говорят сами за себя.

Я нахмурилась, а его лицо осталось прекрасным и спокойным. Однажды Орест сказал мне, что если в мире все, как говорят буддисты, и есть страдание, то, разучившись страдать, попадаешь в идеальный, абсолютно ровный мир.

Мне этот мир казался холодным, наполненным слепыми пятнами, прекрасным и в то же время отрезанным от какого-то важного источника. Я сказала:

— И чего ты хочешь?

— Мира во всем мире хотеть более неактуально. Пожалуй, хочу выпить.

— А от меня?

— Я бы с радостью тебя поцеловал.

Мы играли в игру, которая мне так и не надоела, хотя я не узнала ничего полезного. Орест прислонился к стеклянной стене и сказал:

— Хорошо. Я немного волнуюсь за тебя, Эвридика. У тебя на рукаве пятна крови.

Только тогда я посмотрела на манжеты. Все было не так страшно и похоже на кадр из фильма ужасов, как я ожидала. И все же четыре разительных на белом пятна растянулись на кружеве. Я вздохнула.

— Ты что, убиваешь людей?

— Нет, — сказала я. — Это Одиссей убивает людей. Просто я сегодня спасала человека.

Мне отчего-то не хотелось лгать. Орест смотрел на меня спокойно, и в то же время я как никогда чувствовала дружбу, связывающую нас.

— Дело в том, — продолжала я. — Что Одиссей ударил ножом одну официантку. Я нашла ее. То есть мы, с Полиником. Когда обсуждали всякие наши дела. Не совсем нашли. Сперва мы думали, что она призрак. Но когда эта девушка нас ударила, все стало ясно. Словом, теперь она у Андромеды, знаешь, инженера жизнеобеспечения.

Орест широко улыбнулся, так что у меня не осталось сомнений в том, что Андромеду он знает, причем самым близким образом.

— Это сложная история, — пояснила я. — Но она, вроде как, закончилась хорошо. Я иду проверить. Я бы с радостью взяла тебя с собой. Но никак не получится, потому что та девушка тебя, наверное, не ждет. И испугается. А ей сейчас нельзя пугаться, она ведь была ранена и теперь слаба.

— Я все понимаю, — ответил Орест. — Ты можешь не оправдываться. Я узнал, что с тобой все в порядке, и этого мне, как твоему другу, достаточно. Прости, что отнял твое время.

Орест говорил легко, и даже слишком легко. От этой легкости мне почему-то стало очень тоскливо.

Я крепко его обняла и поцеловала в щеку.

— Спасибо тебе за доверие.

— Спасибо тебе, что прижалась ко мне грудью.

Мы оба засмеялись, а затем я поняла, что пришло время расставаться. Каждый из нас пошел в противоположную сторону, но место, где мы стояли, все еще было освещено волшебным кругом луны, напоминающем о разговоре.

Что-то меня легко встревожило, но не расстроило. Люминесцентные лампы горели тускло, чтобы создать иллюзию настоящей ночи, как снаружи, и я прыгала из светового круга в круг, обещая себе, что Ио все расскажет мне о Ясоне, если только я не ошибусь.

На этаже Андромеды теперь было куда более шумно, люди тоже гуляли, но ни один из них не выглядел беззаботным. Это были люди, чье пребывание здесь постоянно оставалось под страшным, смертельным знаком вопроса. Они очень серьезно относились к своей работе и никогда не переставали ее обсуждать.

Я знала, что Андромеда откроет мне. Она никогда не ходила гулять, не сидела в кафе или перед телевизором. У Андромеды во всякий момент времени находились дела поважнее. Обычно они делались дома и с раздражением. Вот и сейчас, когда Андромеда распахнула дверь, на ней были смешные очки в пластиковой оправе, а пушистый хвост ее светлых волос был забран так высоко, чтобы о себе не напоминать, и тем самым ни от чего не отвлекать Андромеду.

— Твоя девчонка — просто чудовище, — сказала она еще прежде, чем я переступила порог.

— Добрый вечер, Андромеда. А почему она чудовище?

— Зайди и посмотри сама.

Пожалуй, я вполне могла счесть эту фразу приглашением, поэтому и прошла в коридор. Андромеда указала рукой на комнату. Дверь была закрыта, и Андромеда излучала по поводу нее такую тревожность, что не хватало цепей и замков, которые обвили бы эту бедную дверь. Словно за ней правда скрывалось чудовище с зубами и когтями. Я читала книжки о таких. Они и вправду могут выглядеть, как девушки, попавшие в беду.

Краем глаза я увидела кухню. На столе было разложено множество тетрадей и листов с таблицами, сверху кто-то присыпал это все ручками, линейками и карандашами. Холодным светом горел экран ноутбука, который предал Андромеду в последний момент и оставил от ее расчетов одну синеву. С ней такое случалось часто. И она переделывала все вручную, красивым почерком вписывая каждую цифру в нужное ей место. Андромеда делала то, что мне казалось скучнейшей на земле работой — сводила показания. Орфей считал бы это

занятие прекрасным и упорядочивающим. Но он считал прекрасными и осинные гнезда.

Я посочувствовала Андромеде, но поняла, что лучше ей об этом не говорить.

— Если забереешь ее, я буду благодарна.

— Не беру. Мне некуда ее забрать.

— Я так и думала.

Я несмело шагнула к двери, за которой скрывалась Ио, приоткрыла ее, желая сделать это аккуратно, и услышала надсадный скрип, разозливший Андромеду. Она ушла на кухню, издав несколько недовольных вздохов.

На кровати перед Ио была огромная тарелка с едой. На ней сверкали бочками фрукты, источали возбуждающий аппетит запах колбасы и сыры, было немного риса и немного макарон, и словно бы миниатюрное озеро кетчупа, в который Ио макала картошку. Люди со Свалки всегда едят.

На этой огромной тарелке творился хаос. Она напомнила мне Зоосад, с перемешанной с нем историей. Пахло вкусно и в то же время так неопределенно, что почти отвратительно. Как если бы много свежей еды выбросили в мусорную корзину.

Ио подняла голову, тряхнула длинными рыжими волосами, и их кончики прошлись в опасной близости от кетчупа. Она запихнула в рот ровно половину небольшой картошины. Ио ела с каким-то жутковатым аппетитом.

— О, — сказала она. — Привет и спасибо. Садись, будем есть.

— Я уже ела.

— Тогда все равно садись.

Мне вдруг стало неловко, и я поняла, что не могу просто спросить у нее про Ясона. Ио, казалось, неловкости не знала. Она сидела на чужой кровати, словно на своей, была в одних трусах, но оголенная грудь смущала ее так же мало, как перевязанная нога. Над корабликами, нарисованными на белье Ио, возвышалась летающая тарелка, вытатуированная на белой, как снег, коже.

Я села рядом и стала считать рассыпанные по тарелке ягоды. Ио обняла меня, словно мы были старыми подругами. Ее волосы пахли дешевым шампунем, и этот запах мне понравился.

— Ты меня не выдала. За это тебе спасибо. Земля будет благодарна тебе в перспективе.

— Правда?

— Ну, посмотрим, что из меня выйдет.

Ио белозубо улыбнулась. Казалось, она не понимала, что была на волосок от смерти. Ио выглядела не просто излишне, а почти невероятно самоуверенной. На ее обкусанных ногтях был облезший красный лак, но это выглядело не как досадная неряшливость, а как ее особый стиль.

— И спасибо, что оставила дневник.

— Все, не благодари, пожалуйста, — сказала я. — Мне приятно, но неловко.

Я потянулась к винограду, и тут же получила от Ио по руке.

— Ты же сказала, что не хочешь есть.

— Андромеда считает тебя ужасной.

— А мне она нравится, — Ио засмеялась. Я заметила, что дневник все еще находится у нее под подушкой, и иногда Ио посматривает на него. Наверняка Ио поняла, что я его прочитала. Но в этом не было ничего страшного. Я не понимала самого главного. Что до жизни мисс Пластик — было здорово, что она осталась и в моей памяти.

Я не знала, как подступиться к Ио, но она решила за меня.

— Рыжая — это я. Ты же прочитала дневник, верно?

Ио улеглась на кровать, положила тарелку к себе на живот и продолжила есть.

— Дружба — это правда навсегда, — сказала Ио, а затем соскользнула с этой серьезной, болезненной темы, как ни в чем не бывало. — Так вот, но ты же хотела отнять дневник не из любопытства.

— Нам с Полиником нужна была помощь. Мы так и говорили.

— Извини, я не очень-то вас слушала.

— Понимаю. В общем, у меня есть брат.

— Ага, клево.

— Но на самом деле он не совсем есть.

— Вот это уже не очень.

— С ним случилось то же, что и с отцом твоей подруги.

— Ладно, понятно.

Ио старалась говорить цинично, словно бы все это ничего для нее не значило, но я видела, что у нее доброе сердце. Ио смотрела на меня, ожидая, что я попрошу помощи. И она была к этому готова.

Я хорошо понимала добрые намерения людей, это было, наверное, самым примечательным во мне. Хотя Орфей и говорил, что я вижу окружающих несколько однобоко. Я достала листовку и раскрыла ее перед Ио. Без сомнения, она узнала ее и задумчиво кивнула.

— Ясон, — сказала я. — Вот этот вот человек.

— Ага, его так зовут.

— Мне он нужен, — закончила я.

Мы некоторое время молчали. Ио смотрела на меня, ожидая чего-то. Я сказала:

— Тебе, наверное, сложно будет помочь мне. Ты не за этим пришла. Но я очень прошу тебя. Я бы с радостью показала тебе Орфея, ведь тогда бы ты непременно согласилась. Он странный, но очень благородный и смелый. Любит математику, море и джем. Я даже ем за него джем по утрам. Он, наверное, по нему скучает. У Орфея столько идей и стремлений. И он очень справедливый. А еще любит детей, и всегда хочет помочь им, если они попали в беду. Еще Орфей любит такие красивые сады, знаешь, как будто викторианские иллюстрации. И сами иллюстрации любит. Он никогда не врет. Орфей вообще самый честный человек, которого я знаю. Еще он любит ритуалы и ровные числа. Думаю, у него даже есть обсессивно-компульсивное расстройство. Это очень математическая болезнь. Еще Орфей хотел всех нас спасти. Он светлый и чистый человек, рыцарь с линейкой, и он, как и все другие, достоин прожить свою жизнь. Когда он ел вишни, было похоже, что у него на губах кровь. Он так оберегал меня от всего, а теперь ему хочу помочь я. Мы были всем друг для друга, родители оставили нас в приюте у Нетронутого моря, когда мы были совсем малышами. Во время грозы Орфей всегда рисовал зайчиков. Он сочинил такую привязчивую песенку с помощью математики. Мы никогда не расставались.

Я одновременно понятия не имела, что говорю, словно бы мой язык двигался сам по себе, и в то же время точно знала, что Ио важно это услышать.

Я говорила еще долго. Когда я закончила, кажется, не осталось ни единой черточки Орфея, которую я бы не описала, пусть запутанно и быстро.

Ио взяла листовку и покрутила ее в руках, словно видела в первый раз. Она вздохнула:

— Значит, твой брат — лучший парень на земле?

— Он уже мужчина.

— Так лучший или нет?

Я кивнула. Хотя несправедливо было бы считать, что кто-то другой хуже, но Орфей был моим братом, а значит — всем для меня.

— И ты немного чокнулась, когда его не стало?

— Чокнулась?

— Ну, знаешь, странно говоришь, странно ходишь.

— Так некоторые считают.

Наконец, Ио неожиданно аккуратно сложила листовку и положила ее в мой карман.

— Я тебе помогу.

— Правда?

— Нет, я пошутила, а теперь проваливай.

Я встала, но Ио дернула меня за рукав платья и усадила рядом с собой.

— Только слушай, — сказала она. — Ясон ведь не лжет. То, что твой брат внутри твари — невероятно важно. Это удача.

Для меня это было величайшим горем. Я не знала, что ответить, поэтому сказала:

— Я так об этом не думала.

— Конечно, не думала. Потому что ты не знала Ясона.

Глаза у Ио загорелись. Я поняла, как сильно Ио его обожает. Огонь в ее глазах показался мне чуточку страшным.

Но только чуточку.

Казалось, Ио смотрела не на меня, а на этого Ясона, с восхищением и любовью, на которые способны только верующие. Я еще раз уверилась, что Ясон не может быть обычным человеком. Ио, которая казалась мне обаятельной разгильдяйкой, вдруг стала истовой фанатичкой, с глазами, в которых было больше золота и огня, чем в ее прекрасных волосах.

Я сказала:

— То есть, ты покажешь его мне?

— Сначала расскажу немного о нем.

Лицо у Ио было такое, словно она говорила о мифе, а не о человеке. Некто, уже не совсем существующий в реальности, присутствовал здесь сейчас. Мне казалось, стоит обернуться, и я увижу Ясона — как призрака или голограмму.

— Он нашел меня, когда я была совсем одна. Он — первое, что я помню о жизни. Ясон научил меня всему, что я знаю. Но главное с ним ничего не страшно. У него есть все ответы.

— Все? — переспросила я, наверное, в моем голосе сверкнуло, как осколок стекла, недоверие, потому что Ио скривилась, словно порезалась.

— Все, интересные мне, — сказала она. — Понятия не имею, что спрашиваешь ты, подруга.

— Я бы спросила, может ли он помочь моему брату?

Ио засмеялась, и в голос ее ворвалось безумие, рыжее, как ее кудри. Тогда мне подумалось: надо же, ведь я ничего не знала о ней до этого момента, а теперь знаю будто бы все.

Ио сказала:

— Надо ставить вопрос по-иному. Может ли твой брат помочь нам? Каждый, кто внутри — это возможность.

— Так думает Ясон?

— Он так учит. Однажды Ясон сам был в Зоосаду. Он много наблюдал за этими существами. Он знает, что говорит.

Я не стала уточнять у Ио, почему, в таком случае, к примеру, Андромеда не является источником такой же важной и достойной доверия информации. Неудобный вопрос мог разозлить Ио, а мне вправду нужно было к Ясону. Некоторый скепсис появился у меня исключительно потому, что Ио говорила так восторженно. Что поделаешь, разум человека устроен так, чтобы подвергать критическому анализу все однозначные с виду явления.

— Так вот, знаешь, как они чувствуют себя?

Ио склонилась ко мне. От нее пахло едой, а еще мятной жвачкой, и мне вдруг показалось, что мы обе школьницы.

— Они не чувствуют своих тел. Ты можешь представить себе, как не чувствуешь своего тела?

— Не знаю, — ответила я шепотом. — Наверное, это как тишина или темнота. Какое-то отсутствие.

— Ясон говорил: выхолощенность. Еще он говорил, что никакого познания, искусства, никакой любви — ничего не построить, пока ты не ощущаешь своего тела. У них нет даже полной уверенности в том, что они — отдельные друг от друга существа. Они не вполне осознают даже собственное существование, представляешь?

Ио говорила чужими словами, и восторг ее был так велик, будто мы вправду были маленькими девочками, обменивающимися секретами. Я была на месте мисс Пластик, которая давно выросла и недавно убила себя.

— Ужасно, — сказала я. — Вообразить это почти нельзя. Как они так живут?

— Не знаю. Ясон сказал, что нам не понять, для нас это нечто противоположное способу существовать, который сложился на Земле. Но в этом наша сила. Мы чувствуем свои тела. И те, кто внутри, соединены с их телами. Если они пробудятся, представляешь, что возможно?

Я представляла. Управлять этими огромными, невидимыми телами.

— Ладно, если все так, как они двигаются?

— С помощью зрения и слуха. У них нет ощущения тела. Но именно оно может победить и зрение, и слух. Родство со своим телом, понимание того, что это не бесполезный придаток к разуму, а часть тебя.

Ио обнимала меня за плечи и смотрела мне в глаза, словно ей было смертельно важно, чтобы я поняла, что она говорит. У Ио были зеленые глаза, светлые, с серыми пятнышками. Они казались мне гипнотическими, и я не отводила взгляд.

— Хорошо, — сказала я. — Понимаю.

Ей было важно, чтобы я понимала. И я подумала, ведь Ио живет на Свалке. Она не может просто успокоить себя и сказать, что проживет долгую и насыщенную, пусть несвободную жизнь. Ей очень нужна надежда на завтра. Ио была такой молодой и полной жизни, потому что надежда питала ее лучше еды, воды и воздуха Свалки.

— Не-живой король не какая-нибудь сказка, — сказала Ио. — Это просто человек, который захватит тело твари и начнет войну равных.

Я вспомнила о том, сколько существ им подобных во всей Вселенной. Мне вовсе не хотелось разрушать чужие мечты.

— И им может быть твой брат.

Я задумалась. Затем сказала:

— Орфей бы этого хотел. Он очень любит людей. Он был бы рад им помочь. И ему бы понравилось быть королем. Даже не-живым.

— Не уверена, — сказала Ио. — Но это необходимая жертва.

Лучше быть королем, подумала я, чем спать. Это же очевидно. Как, к примеру, лучше получить сто долларов, чем заболеть малярией. Эти вещи так далеки друг от друга, что даже в одном предложении не кажутся связанными, как две бусины от разных украшений.

— Ладно. Думаю, Рыцари возьмутся за твое дело.

— Так вы Рыцари или детективы?

— Мы — новые святые. Так говорит Ясон.

Я подумала, что святые не могут быть старыми или новыми, потому что они вне времени, вместе с Богом, а Ио, вроде как, тут и передо мной. Однако, я снова не стала ничего говорить. Я хотела их помощи, и с этой точки зрения они могли называть себя кем угодно.

— Но Ясон ведь знает, что делать?

Я съела кусок арбуза, розовый, блестящий и вкусный, прежде, чем Ио стукнула меня. Вот насколько она была увлечена.

— Теперь, с этим дневником, — Ио хлопнула рукой по подушке. — Он будет знать больше.

— Ты понимаешь, что там?

— Ни слова.

Тут Ио вдруг повесила голову.

— Хотя когда-то я очень хорошо ее понимала. Жаль, она так и не стала Рыцарем.

Я только надеялась, что это не все, чего жаль Ио. Теперь я понимала, что все это не сказка. Странная секта, с которой я связалась, обещала человечеству не-живого короля, но в обмен на эту надежду принимала только абсолютную верность. Я стала раздумывать над тем, могу ли связаться со всем этим ради Орфея.

Ответ, конечно, у меня уже был. Пусть не должна, но могу и свяжусь. Не этого хотел бы Орфей, но только этого хотела я. Чтобы он был рядом, жив и счастлив.

Вообще-то, это один из распространенных сюжетов в литературе, и я должна бы знать все подводные камни. Все про людей, которые не умеют отпускать. Прощаться. Оставлять.

Я должна была знать, как опасно возвращать кого-то, что он вернется не таким, что он принесет с собой столько горечи и печали, и целый океан слез. Я столько про это читала!

Но в тот момент мне было абсолютно все равно. Я совершала ту же ошибку, что и все другие, и гипотетический читатель хохотал бы надо мной, потому что я ничему не научилась. То же мне, умница. Как же все те, кто заключал сомнительные договоры с личностями, обещавшими спасение. От жуликов до демонов, никто из них никогда не приносит облегчения. Призрачная надежда быть первой, кому повезет, овладела мной. Я протянула Ио руку и сказала:

— В таком случае, мы все решили, правда? Я делаю, что вы скажете, если только не нужно никого убивать, и тогда вы помогаете мне вернуть Орфея.

Ио вдруг засмеялась, погладила меня по голове, растрепав мне волосы.

— Рыцарям от тебя ничего не нужно. Ты будешь только спасать своего Орфея. Тебе так повезло! Ты просто не представляешь!

Мисс Пластик тоже как-то думала, что ей повезло. Но оказалось, что не совсем.

Мне думалось, Ио считает себя не просто человеком, а кем-то вроде сказочного существа, призванного защищать овечек вроде меня. Я обняла ее. Она была такая трогательная в этой уверенности, ее сердце, однако, билось как человеческое.

— Так, девочка, не липни.

— Я — Эвридика.

— А я помню. Сегодня познакомишься с Ясоном.

Она говорила так, словно я попробую новый сорт мороженого. Будто Ясон обещал не только спасение, но и удовольствие. Ио склонилась к моему уху и горячо зашептала, рассказывая свой поспешный план.

Когда я закончила читать Сто Одиннадцатому, мне стоило бы уснуть, хоть ненадолго. Я даже завела будильник и положила его под подушку, чтобы Гектор ничего не услышал.

Теперь я могла поспать. Вот только у меня ничего не получалось. Я все думала о том, как это — быть бестелесным существом. Сто Одиннадцатый оставил меня, а я все думала о нем. Если нет границы между живым и мертвым, то, должно быть, не так удивительно, что все они — словно призраки. Все в мире взаимосвязано, и их не живая и не мертвая природа, без сомнения, исходила из особенностей сознания, которое они несли с собой.

Не-живой король.

По задумке Ясона это было, без сомнения, странное существо — человек, соединенный с тварью. Нечто единое, но управляемое сознанием, которое представляется Ясону более совершенным.

Даже борьба, подумала я, в полной мере невозможна. Но если нельзя помыслить победу, можно придумать интеграцию. Если врага не поразить, остается им стать.

И убивший дракона становится кем?

Все правильно. Молодец, Эвридика, пять.

Я и не заметила, что засыпаю. Из темноты под веками стали выплывать пятна цветов. Было много зеленого, а потом жимолость и чертополох. Шумел вереск. Я была на лугу, который никогда прежде не видела. Орфей стоял у меня за спиной. Я не могла обернуться, как ни старалась, но я знала, что это он. Не было ни голоса, ни дыхания, только присутствие, так легко уловимое, словно я была струной, на которой он играл.

— Орфей? — позвала я. Воздух был напоен такой зеленью, таким упоением лета, что я почти поняла, что сплю.

Он не отвечал мне. Я видела, что от тени его расходятся длинные щупальца. Они трепыхались, словно у существа больного каким-то неврологическим заболеванием (если только подобные существа могли болеть). Я смотрела на острые стрелы чертополоха, на сладкий клевер, и не могла поверить в то, что происходит с тенью Орфея. Жужжали пчелы.

— Эвридика, — сказал он. Голос показался мне очень далеким. Затем тень опустилась на одно колено, и я увидела, что щупальца куда длиннее, чем мне казалось вначале. Они простирались так далеко вперед, что до горизонта я не видела им конца. Они затмили солнце.

— Орфей, — звала я, хотя знала, что нужно бежать. Еще я знала, что бежать некуда. Я так хотела посмотреть на него, но небо становилось все темнее. Это сказка, думала я, или страшная история?

А потом где-то слева настойчиво заквакала лягушка. Через пару секунд я поняла, что эти настойчивые звуки исходят от будильника, и сон потерял всякую власть. Я улыбнулась оттого, что кошмар закончился, и открыла глаза. Вокруг еще было темно, и на секунду мне все же стало страшно. Но за окном не было никаких теней. Мы были очень высоко, но я представила, как жутко мне могло стать, если бы корявые ветви деревьев стучали в мое окно.

К счастью, мне открылась мягкая темнота неба. В постели, под одеялом, было так тепло, что пробуждение представлялось просто невозможной затеей. Сон быстро вернулся и объятия его были удушающе крепкими, я с трудом из них вырвалась. Открытый космос за пределами одеяла принял меня недружелюбно. Я быстро оделась, не утруждая себя ни

корсетом, ни прической. На мне было только белое нижнее платье, а волосы остались распущенными. Так что я выглядела как иллюстрация к какому-то готическому рассказу.

Я поставила замолчавший будильник на место, надеясь, что Гектор ничего не услышал.

Когда Ио сказала, что будет ждать меня в саду, я поняла, что она не в первый раз у нас. Ио знала Зоосад хорошо. Быть может, она была связной между мисс Пластик и Ясоном. Этим мог объясняться и ее здоровый, крепкий вид.

Я не волновалась, словно Ио была моей провожатой в царстве мертвых, где опасаться уже было нечего. Я была так спокойна и растерянна, что даже забыла надеть обувь. Я вышла на дорогу босая, и только тогда поняла, что мне холодно. Обхватив себя руками, я двигалась по проезжей части, пустой в этот час. Сад был далеким и темным, но я знала, что по ночам он открыт. В конце концов, как бесчисленные поэты, художники и музыканты, которых вдохновляли ночные бдения.

Тесей, однако, говорил, что в саду нельзя выпить, поэтому он туда ходить не будет. Я надеялась, что того же мнения придерживается большинство. Ночь, вопреки расхожим представлениям, немногих располагала к близости с природой. Правда, Орфей иногда ходил в сад ночью и радовался одиночеству.

Сегодня я увидела над садом полную луну (она была искусственной, поэтому не блекла ближе к рассвету). Пахло ночными цветами, а ноги быстро замерзли от росы. Где-то неподалеку пел свою песенку ручеек. Изредка громко ухала сова. Уголок жизни, словно из книг и фильмов, сладко пахнувший первобытный сад.

Орфей приносил мне отсюда землянику, крошечные ягоды, терпкие и приторные. Я любила, как они пахнут, и как легко давить их языком.

Я вошла в сад, словно призрак. Мои белые одеяния пугали меня саму. Подол нижнего платья колыхался на легком ветру.

Ни за что не поверишь, что все это — искусственное. Мне, во всяком случае, так хотелось думать о чем-то настоящем. Пусть даже это место рукотворно, а голос совы записан лет двадцать назад и с тех пор раздается с определенной периодичностью.

Цветы ведь были настоящие. И холодный ручей, и земляника.

Кустов было много, за любым из них мог скрываться как друг, так и враг. Здесь кусты были даже больше, чем в небольшом лесу за Нетронутым Морем. Искусственное всегда отличается от естественного непомерной пышностью, в том числе и масштабов.

Тени, повсюду отбрасываемые ветвями, вдруг показались мне очень знакомыми. Словно все они пришли из сна. В тот момент, когда я слышала шорох в кусте ежевики, я готова была завизжать от звука собственного дыхания. Кричала я вдохновенно. Может, Орест бы взял меня сняться в своем фильме ужасов, если бы был здесь.

— Ты меня напугала! — заорала Ио. Я не сразу смогла замолчать. А когда у меня все же получилось, я прошептала:

— Ты меня тоже.

— Чем? Тем, что вообще пошевелилась? В отличии от тебя я не пришла в прикиде мертвой невесты.

— Это не прикид мертвой невесты.

— Неважно.

Казалось, Ио была смущена. В темноте проявлялись болезненные черты, которые она прятала днем. Скулы ее казались слишком выпирающими, а шея какой-то особенно тонкой.

— Добрый вечер, — сказала я. Ио пробормотала в ответ что-то недружелюбное, и мне в

лицо полетела розовая в мятный горошек, пахнувшая чизбургерами ткань. Форма официантки.

— Пойдем с тобой сейчас со смены, — сказала Ио.

— Как твоя нога?

— Нормально.

В темноте Ио выглядела совсем бледной, но ее глаза сильно блестели. На ней снова была форма официантки. На этот раз — чистая, ни пятнышка крови. Однако, движения Ио были скованными, и она хромала.

— У меня тут достаточно знакомых, — сказала она.

— И все — менеджеры по персоналу?

— Нет, швеи.

Мы обе засмеялись. Я стянула с себя нижнее платье, и вся в момент покрылась мурашками. Форма пахла едой, отдаленно — газировкой, и на ощупь была куда менее приятной, чем моя обычная одежда. За воротником я обнаружила несколько пятен. Я старалась думать о них, чтобы не думать о холоде и обнаженности. Пятна было четыре.

Ио помогла мне застегнуть короткое платье и отдернула фартук.

— Отлично. Даже печать Вирджинии Вульф на твоем лице стала менее явной.

— Какая такая печать?

Ио только отмахнулась от меня. Несмотря на ее грубость, она нравилась мне все больше и казалась все более беззащитной. Пусть Ио отлично боролась, но ей патологически не везло, начиная с самой первой нашей встречи, и она была не слишком хорошим тактиком.

Как только мы справились с моим перевоплощением, я услышала голос Ореста.

— Дамы! Не хотел вас смущать, но до части с переодеванием никак не мог заставить себя выйти из укрытия!

— Орест! Что ты здесь делаешь?

— Я смотрю!

— Ты что сдала нас, Эвридика?!

— Нет!

— Я сейчас его убью!

— Точно нет!

— Что вы, не стесняйтесь, умереть от руки столь прекрасной девушки было бы для меня подарком!

— Орест, сейчас вообще не время!

— Так его зовут Орест? Слышишь, Орест, сейчас я тебе накостыляю!

— Будьте моей гостьей!

— Не надо, подождите, я все объясню!

Орест и Ио замолчали, они посмотрели на меня не без любопытства, а сад снова нырнул в ночную тишину (или почти тишину, потому что ручей не замолчал).

Я не знала, что могу объяснить. Появление Ореста было для меня сюрпризом, поэтому я сказала:

— Этот молодой человек — Орест. Он — мой друг, я ему доверяю, и он очень верный. Но большой сплетник.

— По-моему ты сама себе противоречишь, — сказала Ио.

— Ничуть. Орест, а это — Ио, моя новая знакомая, которой я спасла жизнь. Мы идем спасать Орфея.

Орест прижал руку ко лбу, вид у него был не то скорбный, не то смешливый.

— Ну, — сказала Ио. — А объяснишь-то ты чего?

— Я представила вас друг другу.

Ио выругалась.

— Не переживайте, я не стану выдавать столь прекрасную девушку из страха потерять вашу компанию.

— Лапшу мне на уши не вешай.

— Он говорит совершенно серьезно!

— Хорошо, — сказал Орест. — Дело не только в золоте ваших волос, прелестная Ио. Я волновался за мою подругу. Эвридику, знаете ли, легко обвести вокруг пальца.

Я обиделась, потому что это была неправда.

— И как ты нас нашел? — спросила Ио шепотом.

— Если честно — поинтересовался обо всем у Андромеды. Шпионки из вас так себе.

Ио снова выругалась.

— Да, — задумчиво сказал Орест. — Доверять Андромеде не стоит. Но мне — вполне можно.

— С чего ты решил, что я тебя не прикончу? Я сверну тебе шею, как цыпленку.

Ио говорила с девчачьим задором, поэтому я ей не верила. Орест, кажется, тоже не был настроен так уж агрессивно.

— Знаете, Ио...

— Можно на "ты"!

— Раз уж ты все равно собираешься меня убивать, я не против!

Мне вдруг показалось очень сложным не засмеяться.

— Просто, как я полагаю, вы спускаетесь вниз.

— Угу. И тебе там делать нечего.

— Как ты понимаешь, Эвридика несколько необычная девушка. Не уверен, что она выживет на Свалке без сопровождения.

Мой смех зазвенел в ночном саду, и я прошла чуть дальше, чтобы найти скрывшийся между высоких трав ручей. Я прекрасно слышала, что они говорят.

Ио сказала:

— Ладно, значит ты хочешь с нами?

Ухнула сова.

Орест сказал:

— А это возможно?

Ручеек был похож на серебристую ленту, брошенную на землю. Я села перед ним на колени и коснулась губами холодной воды. Мне хотелось напиться, потому что на Свалке все — яд. Ио задумалась, стало тихо. Только после того, как сова ухнула еще раз, она ответила:

— В принципе, можно. Если только ты согласен влезть в мусорку.

— О, ради дружбы я согласен и не на такое!

— Я тебя давно заметила.

— Это неправда.

— Ладно, неправда. Но долго же ты ждал.

— Надеялся, что и ты разденешься.

Они оба засмеялись, и я с радостью подумала, что доля понимания между ними есть.

— Так кто такой этот Ясон? — словно бы между делом спросил Орест. Тут Ио не медлила.

— Тот, кто тебя однажды спасет. Или лучше так: тот, кто к этому причастен!

Снова вместо веселой молодой девушки я слышала полубезумную фанатичку. Все это было очень, очень неправильно. Но других, правильных, возможностей у меня не было, и я брала то, что дает мне судьба.

— Что ж, полагаю он заинтересован в последователях.

— Весьма.

— Значит поэтому ты меня и не убила? — Орест засмеялся.

— Еще и потому, что ты — забавный.

Честно говоря, я вообще не была уверена в том, что Ио способна на убийство. Разве что ради Ясона, но его здесь, к счастью, не было. Я напилась воды и подошла к ним, покачиваясь, будто пьяная.

— Так, значит, мы пойдем вместе.

— Пойдем. Ясон не против новых людей.

Коллаборация невозможна. Альтернатива для Ореста, в конце концов, только забыть эту ночь. Теперь я понимала, что Ио даже немного рада.

— Но предупреждаю, будет противно. И не только в той части, где мусорка.

Ио взглянула на мое ожерелье и на то место, где под одеждой было скрыто ожерелье Ореста.

— Но вам все равно будет легче. Спрячь это, Эвридика. На Свалке с тебя его просто сдерут.

— А как же мой прекрасный, модный и в меру изящный вид, разве он не выдаст во мне жителя Зоосада?

Ио легонько толкнула Ореста в бок.

— Не переживай, путешествие приведет тебя в надлежащий вид.

Так мы пошли. И я все думала о том, что Орест хороший друг, хотя поступил не очень честно. Тогда я верила и в то, что Ясон тоже окажется хорошим. Что все мы — люди, и пытаемся помочь друг другу, как можем.

Ясон ведь пытался помочь мисс Пластик. Ясон пытался помочь и Одиссею.

Одна убила себя, второй убивал других. Ясон с этой точки зрения напоминал какой-то проклятый артефакт. Время в Зоосаду перешло ту границу, за которой наступала тишина. Кафе закрывались на пару часов, чтобы вскоре открыться, даже самые упорные полуночники расходились по домам. Мы шли по пустой улице, две официантки и франт между ними. Орест был похож на европейского туриста в окружении двух поверхностных, американских девочек, которых просто соблазнить вином и разговорами об искусстве.

Шли мы довольно долго, так что Орест и вправду успел рассказать нам о своем новом фильме. Он был о двух братьях, один из которых чуть не утонул в Нетронутом Море и теперь боится воды. Братья вместе отправлялись в путешествие, чтобы излечить невроз одного и найти девушку другому. Это должна была быть добрая, эксцентричная комедия. Орест сказал:

— Посвящу ее, пожалуй, тебе, Ио. Ты не против, если я немного переформулирую образ героини в твою пользу?

Ио не была против. Она покраснела и стукнула Ореста по плечу. Кажется, для нее это был способ выразить приязнь.

Я никогда не видела кафе, в которое нас привела Ио. Это был дайнер, но, в отличие от "Бестелесного Джо", не стилизованный, стерильно-мятный интерьер напоминал скорее о молочных коктейлях, чем о чизбургерах. Если бы зубной врач открыл кафе, он выбрал бы именно такой цвет для диванчиков, потолка и пола — цвет зубной пасты. Никто бы не забыл почистить зубы. Холодный свет, горевший в пустом помещении, казался странным, как из фильма. И я видела, что Орест тоже смотрит на все это, как на кадр.

Мы, оставаясь в тени, прошли к задней двери. Рядом с ней курила брюнетка с высоким хвостом невероятно прямых волос.

— Я уж думала вы не придете.

— Да какого-то черта к нам привязался парень.

Девушка кинула взгляд на Ореста, сказала:

— Ну, привет.

— Эта ночь начинает нравиться мне все больше.

— Только давай без этого, — сказала Ио. — Сейчас Пенелопа вывезет мусорку, и ты в нее полезешь.

— Полезу, конечно. Но перед этим наслажусь обществом чудесных женщин.

— Не насладишься, — сказала Пенелопа. Она явно была не из тех, кого легко очаровать. Она затушила сигарету и выбросила ее в мусорку. Я так много читала о курящих людях и так редко их видела, что мне казалось, будто бы они не совсем реальны, как призраки, которых почти все боятся, но существование которых никто еще не доказал.

Пенелопа вывезла серебристую тележку с шумно крутящимися колесами. Она явно знала, что делать в таких ситуациях, Ио ей не подсказывала. Это был отработанный план. Я открыла крышку и заглянула внутрь. Никаких объедков там не было — все съедалось подчистую персоналом, познавшим голод Свалки. В основном, упаковки и коробки. Среди них-то и оказался Орест. Он влез в тележку так изящно, словно это была карета. Ио накрыла его голову коробкой.

— Ничего не вижу. Так и должно быть?

Мы с Ио засмеялись, Пенелопа осталась мрачной.

— Тележку вернете. И форму тоже.

Орест зашуршал бумажками, укладываясь поудобнее, и Ио закрыла крышку. Она сказала:

— Ну что, готова?

Мы прошли вместе с молчаливой и задумчивой Пенелопой до лифта, она ввела код и прижала палец к сканеру. Мы вошли внутрь, и Пенелопа вдруг помахала нам.

— До рассвета, — сказала она.

А я подумала, ведь рассвет же совсем скоро. Но когда Ио повторила:

— До рассвета, — я поняла, что это было их особое, рыцарское прощание. И под рассветом они имели в виду не солнцем над миром, но солнце над человечеством. Возможно, они имели в виду моего Орфея.

Орест сказал:

— Мам, мы уже приехали?

— Помолчи. И ничего не говори, пока я не разрешу.

— Ладно, мама. Только если купишь мне шоколадку.

Я засмеялась, а Ио легонько стукнула локтем по тележке, потом выругалась оттого, что ударилась сама. А я думала, что ничего не помню о Свалке. И с детства ее не видела. Я жила

в мире, где Свалка — почти выдумка. И мне предстояло понять, что делать с правдой.

Выйти из Зоосада было значительно легче, чем войти. Лифт открылся, и мы оказались в грязном коридоре безо всякой охраны. Дверь закрывалась на засов, а пахло чем-то кислым, не противным, но и не приятным. В конце концов, даже нас особенно не стремились держать в Зоосаду силой. Мало кто отваживался сбежать и умереть. Подкожный жемчуг, видимо, позволял нам жить на отравленной Земле дольше, но и его ресурсы были ограничены. Говорили, что на Свалке он чернеет и теряет свои свойства за пару месяцев.

Умирать никому не хотелось. Это была аксиома, обеспечивающая и подкрепляющая существующий порядок вещей.

Ио толкнула дверь, и я впервые за много лет увидела Свалку. Кажется, будто на открытых пространствах легче дышится, будто клаустрофобия коридоров должна удушать, но от чистого, беспредельного неба пойдет прохлада.

Я поразилась, когда это оказалось неправдой. Изменения я чувствовала уже на первом этаже, но воздух Свалки оказался душным и горьким. Над нами забрезжил красивый, конфетный рассвет, и небо казалось прохладным, но от земли словно поднимались испарения, неприятно-теплые, соки покидали ее. Было жарко, было тяжело дышать, и все казалось поддернутым слабой дымкой.

Мы с Ио везли тележку, слаженно шли нога в ногу, как настоящие официантки. Ис сказала:

— Нравится?

— Нет. Но я так и думала, что не понравится.

Мы отошли от Зоосада, и Орест выглянул из тележки с шумом открыв крышку.

— Не могу ни дышать, ни молчать, ни позволить девушкам везти тележку со мной.

Ио не возражала, и Орест вылез. Мне показалось, Ио стало грустно, как и нам. Она не была здесь ни в первый, ни в последний раз, и рассвет над Свалкой должен был быть для нее привычным зрелищем. Но, наверное, нельзя привыкнуть к тому, что убивает тебя.

Я видела фотографии Свалки и фильмы о ней, стихотворения, сборники с цветастыми граффити, все то, что люди оставляют после себя, в какой бы ситуации ни оказались.

Перед нами был город, вернее его скелет. Кто теперь знал, что здесь было раньше — Лодзь, Воронеж, Бонн. Все стало неузнаваемым.

Здесь у людей не было сил строить что-то новое. Скелеты панельных многоэтажек, скелеты симпатичных, длинных домиков начала двадцатого века, опустошенные вены улиц — все было переработано, словно здесь жили микроорганизмы. Вырастали железные пристройки, балконы превращались в мансарды, на которых с большим трудом прорастали в горшочках съедобные растения. Я и не заметила, как задышала чаще, словно кислорода в атмосфере было не так уж много. Свалка была не совсем похожа на настоящую свалку. Мне она напомнила сундучок со старыми игрушками: кубиками с буквами, домиками, машинками. Все поседело от пыли, и ребенок, игравший с такими артефактами, пытался придать этим грустным вещам некую видимость порядка.

Даже вывески редких магазинов были составлены из букв, упавших или украденных с других вывесок. Все вторично переработано. Тут и там возникали стихийные рынки, торговали едой и всякой всячиной, в основном, сделанной вручную. Мне вдруг стало радостно, и чувство это было кощунственным. Люди и здесь творили. Вот чего не вытравить из нас даже медленной смерти.

В нашу тележку тоже заглядывали и отшатывались от нее, когда видели только пластик

и полиэтилен. Такие тощие руки, они открывали и закрывали крышку, и казались мне удивительно похожими — мужские, женские, старческие, детские.

Ио сказала:

— Народ тут не особо заботится о приличиях. Могут и в карман залезть.

— Это называется не "приличия", — задумчиво сказала я. Лица людей вокруг тоже были похожи, вот этими горящими глазами с голодом внутри, болезненной скуластостью, дрожащими губами. Словно все это был на самом деле один человек — разного пола и возраста, но повторяющийся снова и снова.

Некоторое время спустя я поняла, что дело в печати смерти. Именно она придала всем здесь такое сходство черт и взглядов. Обреченность сделала людей чем-то вроде фабричных товаров, стремящихся к полной идентичности.

Среди бесконечно модифицированных построек попадались и нетронутые. Я увидела помпезное здание театра, с колоннами и конями. Европейский классицизм, исполненный в мраморе, цветом напоминающем кофе с молоком.

Эта постройка, давным-давно заброшенная, казалась мне свежее, живее прочего, включая всех ныне здесь живущих. Она вдруг обрела бессмертие, потому что в ней была жизнь и история, а во всем остальном ее больше не было. Я могла бы вечность смотреть на этих отлитых в бронзе коней, и на эти высокие колонны. Они сохранили в себе больше человеческого, нежели люди.

Снова стало грустно, а потом меня за руку поймала женщина. Она зашептала мне, и я увидела, что она молода, а также, что волосы у нее лезут клоками.

— Ты же там работаешь? Ты там работаешь, да? Принеси мне хлеба оттуда! Принеси мне хлеба, от них не убудет, а я еще денек поживу!

Мне даже казалось, что лицо ее чудится мне, что я на самом деле разговариваю с дряхлой старушкой. Она облизывала губы, и я видела, что зубы ее сколоты, а у десен был фиолетовый, противный цвет.

И я обняла ее. Она не оттолкнула меня, просто очень удивилась.

— Хлеба, — повторяла она. — Хлеба.

Но у меня не было хлеба, и я заплакала, а Ио и Орест оттащили меня от этой бедной женщины. Мы шли дальше, удалялись от Зоосада, и здесь каждый шаг в любую сторону был предельно ясен, не оставлял сомнений. Чем дальше от Зоосада — тем меньше рынков, тем более крошечны пристройки, и тем больше пыли и грязи. Но все же иногда встречались люди, сидящие перед раскинутыми платками, на которых была разложена еда или вещи. Я вдруг увидела бусы и браслеты невероятной красоты. Они были сделаны из крохотных фигурок, я видела миниатюрных зверушек, пирожные, ягоды ежевики. Точна была каждая линия. Бусины были из камушков, но материал, как это частенько случается с настоящим искусством, отступал перед образом. Я склонилась над цепочкой с миниатюрной (полпальчика!) каруселькой, в которой видно было каждую лошадку, каждую перемычку.

Женщина назвала мне цену, но я покачала головой, у меня не было с собой денег.

— Это искусство, — сказала я тихо. — Идите с этим в Зоосад. Это ведь так прекрасно!

Я не услышала, что мне ответила женщина, потому что Ио взяла меня под руку и увела.

— Не будь такой общительной, хорошо?

— Почему?

— Потому что ты выглядишь подозрительно здоровой. Нам проблемы не нужны. Вот Орест хорошо себя ведет.

— Благодарю.

— Когда он успел стать твоим любимчиком?

— Это долгая история. Меньше надо было по сторонам глядеть.

Странное дело, здесь царил голод, но не бедность. Вернее, не только бедность. Иногда я видела машины, за которыми очень хорошо ухаживали. Они были яркими, чистыми пятнами в этой пыли.

Все было странным, суматошным. Казалось, голод и странный, головокружительный воздух придавали людям не только болезненный вид, но и странное возбуждение. Было шумно, даже на самых немногочисленных улицах люди говорили, ругались, смеялись, кричали и плакали. Все казались мне такими эмоциональными. Я подумала, что от голода часто приходит легкость и даже эйфория. А от недостатка кислорода по телу разливается приятное тепло.

Эти люди умирали, и тем были отчасти счастливы. Смерть, растянутая на годы, здесь стала удовольствием.

Я все утирала слезы и не могла перестать плакать, хотя Ио периодически напоминала мне:

— Не привлекай внимания.

А я думала, что с тележкой и в форме мы привлекаем внимание в любом случае. Иногда вслед нам неслись ругательства, но, по большей части, люди приветствовали Ио, она махала в ответ.

— Ты здесь известная персона, — сказал Орест.

— Ну, так. Все Рыцари важны. Мы часто помогаем людям, попавшим в безвыходную ситуацию.

— Мне это нравится, — протянул Орест. Я была с ним согласна.

— Но почему ругаются? — спросила я.

— Эти нас как раз не знают. Ругаются, что мы хорошо устроились.

Ио указала рукой вперед, и я увидела вход в метро. Надо же, я никогда не ездила на метро, но узнала его безошибочно. Потому что у меня был образ метро из фильмов и книг. И сколько еще таких образов я хранила, никогда не используя?

Бесчисленное множество. Я могла бы поддержать разговор с человеком из прошлого, и он бы, наверное, даже меня не раскрыл, но все, что он знал изнутри, было для меня таким поверхностным.

Мы спустились по ступенькам, которые напомнили мне крошащиеся зубы той женщины, просившей хлеба. На полу был грязный кафель, на нем совсем стерся рисунок. Я видела пустые билетные кассы и автоматы. Бездушное тело такого феномена — метро.

Наши шаги гулко отдавались от стен.

Дышать здесь было не легче, но и не тяжелее, зато пространства — много. Это было важно для организации, особенно сказочной и зловещей. Орест сказал:

— Так здесь живут Рыцари?

— Работают.

Когда мы спустились на платформу, я удивилась. Такого образа у меня не было. На линии между двумя путями было нечто вроде офиса — стеллажи, столы и стулья, канцелярские принадлежности и книги. Было странно, словно кто-то перенес страховую компанию годов, к примеру, сороковых, в совершенно неподходящее ей место.

На путях стояли, вызывая тревогу, хотя я и знала, что поезда больше не ходят, шкафы с

оружием. Оно смолисто поблескивало от искусственного света. Чем больше я присматривалась, тем очевиднее становилось, что мебель старая, явно притащенная с помойки на Свалке, а оружие было не только стрелковое, но и холодное. Я увидела даже несколько мечей.

Рыцари были сюрреалистической смесью клерков, отощавших заключенных и воинов. Мне захотелось засмеяться, а Орест только поцокал языком.

Над нашими головами вывеска, некогда называвшая станцию, теперь гласила "До рассвета".

Все иные буквы были зачеркнуты. Интересный ребус. Наверняка, они долго подбирали нужную станцию и руководствовались не удобством. Впрочем, возможно их сеть раскинулась на много станций вперед и назад. Но что они тогда делали с другими вывесками?

Мы стали спускаться. Люди не обращали на нас внимания — одни что-то писали, другие дрались. Я слышала лязг мечей, но не решалась посмотреть. Я вдруг почувствовала себя мучительно неловко.

— Не стесняйся, — сказала Ио. — Рыцари созданы, чтобы защищать людей и служить не-живому королю.

Я не сказала, что не-живого короля еще нет, зато перед людьми Свалки лежит ясная перспектива стать неживыми. И очень хорошо, что я этого не сказала. Потому что как только мы спустились, откуда-то из темноты путей вышел Ясон. Он прохаживался рядом с дерущимися, легко уклоняясь от ударов мечей.

Ясона я сразу узнала. Я ни с кем бы не перепутала его.

На нем была ржавая, жуткая корона, сделанная из подручных материалов подручными средствами. Он носил ее с гордостью.

И, наверное, очень хотел передать.

У Ясона были такие глаза — светлые, острые, лезвие или рассветное небо, я так и не поняла. Тонкие губы его то и дело кривились в неприятной улыбке, обнажающей зубы. В нем было что-то подчеркнуто мужественное и воинственное, однако я видела перед собой и отличного манипулятора.

А еще, безусловно, Ясон был абсолютно искренен в том, что делал. Он правда боролся за нас. Это было важно и очень заметно. У него были глаза героя, а не злодея. И все же это был герой с темным прошлым и таинственным настоящим. Я смотрела на него, а он на меня, и его взгляд побеждал, я сделала шаг назад.

— Здравствуй, — сказала я. Железная корона смотрелась на Ясоне в высшей степени иронично, словно он был клоуном, который напялил ее ради шутки, и вся его гордость тоже была какой-то гротескной.

Странный это был человек. Я таких прежде не видела. У него был шрам на шее, словно бы ему пытались отсечь голову. И не смогли.

— Ну, привет, — сказал он. — Пришла спасать человечество, потому что тебя одолел стыд из-за твоего благополучия?

— Да, — сказала я. — Меня часто одолевает стыд из-за моего благополучия. Пришла я не поэтому.

Он криво улыбнулся, вздернул уголок губ вверх, и я увидела еще один маленький шрам.

— Мне нравится, — сказал он. — Ты честна с собой. А что насчет меня?

— Что насчет вас?

Он отстранил меня рукой, движение было сильное, но не болезненное. В каждом его действии была значительность, которой больше не было ни в истории, ни в жизни. Я сразу поняла, почему ему верит Ио, и мне не нужно было слушать его речей. Ясон выглядел так, словно правда знает, что делать. Никто из нас таким не был, наши родители, бабушки и дедушки не были такими. В мире вообще, возможно, больше не было никого, кто в чем либо уверен.

Но Ясон выглядел так, будто знает нечто важное. Словно он один будет действовать, пока все заняты бесплодной рефлексией конца всех веков.

— Вы очень внушительный, — сказала я.

— Спасибо, девочка. А ты, парень?

— Я — Орест. Пришел защищать девочку.

— Что ж, вполне по-рыцарски.

Ио протянула Ясону дневник. В его мужественной руке он смотрелся по-дурацки. Ясон напомнил мне любопытного отца, решившего почитать, что там у его дочери с мальчишками. Я обернулась к Ио и увидела, что она упала на колени. Ясон протянул ей руку, и она поцеловала его перстень с рубином. Камень был словно кровь.

Замершая капля боли, такой пронзительный и яркий. Как Ясон. Этот человек зачаровал меня.

Люди вокруг продолжали писать, и я подумала: надо же, клерки не обращают внимания на средневековый вассальный жест прямо перед ними. Я присмотрелась к тому, что они делают. Тощие люди, казалось, только писать и способные, водили пальцами по бумаге перед ними и что-то заносили в тетради. О, Андромеде бы тут, несомненно, понравилось.

Они расшифровывают, подумала я. Столов на платформе было около десяти, и за всеми шла кропотливая работа. Мисс Пластик не была единственной. Сколько же здесь, наверное, информации.

Ясон кинул какой-то тоненькой девчужке с большими, призрачными глазами дневник Мисс Пластик.

— Займись!

Она поймала его неожиданно ловко.

— Да, Рыцарь.

Хорошо, подумала я, что не Верховный Рыцарь. Иначе было бы совсем как в компьютерной игре, которую обсуждают во время перекура белые воротнички. Воротнички, впрочем, действительно были белые. На каждом здесь была снежно-сияющая одежда, и запах мыла перебивал все остальные запахи.

Теперь я подумала о монахах в скрипториях. Меня швыряло из далекого прошлого в невероятно отдаленное, картинка дергалась.

Ясон вдруг сел на край платформы и принялся болтать ногами, как мальчишка, которого не видит мама. Он похлопал по местам рядом с собой. Мы с Орестом сели по бокам от него. Ио встала с колен и направилась куда-то вглубь платформы, села на край стола к девушке с дневником Мисс Пластик и принялась что-то ей шептать. Девушка кивала, не отвлекаясь от работы, а потом спихнула Ио со стола, они обе засмеялись, некоторые посмотрели на них неодобрительно, словно только Ясону здесь позволялось говорить в полный голос. И, о, он пользовался этой привилегией.

— Итак, что-то мне не хочется слушать Ио, так что, детки, расскажите о себе сами.

Он говорил со злым обаянием, и мне захотелось одновременно обидеться на него и все рассказать.

— Если дама не возражает, я начну. Я — разочаровавшийся даже в иллюзиях режиссер, пришел сюда в надежде, что вы — торговцы людьми, но, увы, судя по всему почки здесь игнорируются.

Ясон засмеялся, получилось и весело и раздраженно. Наверное, общаться с ним невозможно, но работать под его началом должно было быть приятно. Есть такой вид начальников, умеющих подстегнуть своих подчиненных к свершениям. Часто в быту эти люди совершенно невыносимы.

— Итак, ты притащился сюда с девчонкой, а самого тебя устраивает существование благодаря подачкам тварей, которые высасывают соки из твоей планеты и уничтожают твой биологический вид.

— Безусловно, устраивает.

— Дай-ка теперь я тебе скажу, кто ты такой.

— Извольте!

— Тридцати тебе, пожалуй, еще нет, поэтому твой проект "я-отношусь-к-жизни-исключительно-философски" еще жив. Ты, в какой-то момент, видел достаточно страданий, и, чтобы отстраниться от них, тебе потребовалось отказаться и от радостей тоже. Ты выбрал буддийский третий путь и пошел этой дорогой в край, где тебя ничего не беспокоит. Иногда ты просыпаешься по ночам и понимаешь, что ничего не чувствуешь. Может, даже удивляешься, что твое сердце еще бьется. Ты многим пожертвовал, чтобы стать шкуркой от самого себя. И теперь тебе даже обидно. Так что, на самом деле, ты вполне готов стать Рыцарем, чтобы извиниться перед кем-то, о ком ты думаешь реже, чем нужно.

Орест выглядел задумчивым скорее, чем расстроенным или уязвленным, так что я не ожидала, что он скажет:

— Довольно проникательно.

— Но самые опасные задания ты выполнять не будешь, потому что тебе слишком понравилось быть ленивым гедонистом.

— Тоже верно.

— Сможешь быть посыльным?

— Вероятнее всего.

Все это было как в одном из абсурдных и смешных фильмов Ореста. Кажется, Орест и Ясон понимали друг друга, а может Ясон понимал Ореста, а Орест просто умел поймать нужную волну. Я знала, что это еще не предложение. Это — шутка, которая может стать предложением.

— Но глаза у тебя не отчаянные, — сказал Ясон. — Значит, ты здесь вправду не за помощью.

— Да-да. Я здесь исключительно потому, что мне рекомендовали это место.

— Здесь есть блюдо, которого больше нигде не подают — будущее.

Они снова засмеялись, и мне уже стало неприятно. Я думала, если они подружатся и будут вот так болтать, то как мне спросить про брата? В конце концов, я пришла сюда затем, чтобы спасти Орфея. Так что я сказала:

— Еще есть я. Мы с вами здоровались. Я — Эвридика. Орест пришел со мной. Потом что я нашла вашу речь. И она очень меня вдохновила.

Ясон быстро повернулся ко мне, глаза его засверкали, словно одно воспоминание о самом себе, об этой его речи, было ему нестерпимо приятно.

— Так-так-так. Хочешь, чтобы я и тебе что-нибудь рассказал?

— Можно, конечно, но я здесь не за...

Ясон, однако, перебил меня.

— Странно говоришь и двигаешься. Но все это не напоминает ни одну из известных психических патологий. Ты не шизофреничка, не психопатка, не припадочная. Какой-то синдром Офелии, того и гляди потонешь и будешь плыть в цветах. Впрочем, ты явно не притворяешься. Думаю, вполне типичная конверсионная истеричка, отсюда диссоциативные симптомы и нарушения походки.

— Вы что, психиатр?

— Как-то бывал. Художники, знаешь, народ нервный. Я был инженером по личностному сохранению.

— Интересная профессия.

Но он не закусил наживку.

— Так вот, ты маленькая, доверчивая девочка, которая не может не то без отца, не то без брата. Такая трогательная героиня, сжавшая кулачки и решившая идти до конца, однако ничего толком не умеющая и оттого бесполезная. Зато ты хорошо выполняешь приказы, благодаря чувству личной ответственности. Ты добрая, но слишком сентиментальная, окончательно потеряла связь с реальностью пару лет назад.

— Очень впечатляет, — сказала я. — И про брата вы тоже угадали.

В Ясоне было нечто мальчишеское. Он, казалось, очень радовался каждому своему слову, радовался точным попаданиям и цепко изучал выражение моего лица. Мне не было обидно, в конце концов, он не говорил неправды.

— Брат-брат-брат. Он не мертв, так?

— Так.

— Но и не жив. Он внутри у одной из тварей. У твоего хозяина.

Последнее слово Ясон выплюнул с настоящей ненавистью, и она отличалась от его обычной злобы, как ядерный взрыв от пузырьков в газировке. Улыбка Ясона засверкала ярче, словно ненависть давала ему заряд.

— Это хорошо, — сказал Ясон. — У нас как раз есть теория.

— Теория? — спросила я. — Мне не нужна теория.

— Тебе нужно хоть что-то, так? Сама ты не справишься. Доверься мне, и у тебя будет шанс. Или ты пришла сюда... ну, знаешь, поглядеть, как живут люди. Так себе они живут.

— Не дави-ка на нее, — сказал Орест.

— Это терапевтическое воздействие.

Ясон махнул рукой, а затем сказал:

— Ладно. Я не так выразился. У нас для тебя есть теория получше других.

Он улыбнулся радостно, предвкушающе. Он не мог обходиться без улыбки, как те женщины, что не могут выйти из дома без помады. И у него в запасе было столько же оттенков улыбок, сколько разноцветных тюбиков на туалетных столиках у отъявленных модниц.

— Теорию похуже вы как-то предложили Одиссею.

Ясон не выказал ни удивления, ни раскаяния. Тогда я подумала: он — психопат, по-своему совершенный, но и ужасный тоже.

— Я пытался ему помочь. У Одиссея было две проблемы. Он опоздал и заигрался. С тобой ведь такого не случится?

— Я не буду никого убивать.

— У тебя другая ситуация, детка. Тебе не нужно убивать. Тебе нужно сделать твоего брата не-живым.

— Королем? — спросила я.

Вдруг Ясон совершенно изменился, циничная комичность исчезла, он мгновенно поправил корону, и мне показалось, что за спиной у нас не шелестят бумагами рыцариклерки, а ветер перебирает зеленые листья дубов, и шумит морем вереск. Вместо мыла пахло дикими цветами и холодным металлом. Я очутилась в книжке о рыцарях, которые в детстве любил Орфей, и Ясон сидел передо мной в сверкающих латах, с золотым мечом и прекрасными глазами героя. Где-то далеко-далеко, в мире нашего детства, было и золотое озеро и сверкающий белизной замок, и все это теперь принадлежало Ясону. Его волосы тоже показались мне золотыми. А кто был в замке? Не-живой король.

И тогда все стало темным с проседью инея, место золота заняло серебро, и уже не вереском пахло, а полынью. Я мотнула головой, и все исчезло. Передо мной сидел Ясон, и в руках у него был не меч, но маркер. Я засмеялась.

Ясон сказал:

— Что? Что, черт возьми, смешного?

Он забавно раздражался. Орест тоже засмеялся.

— Если вы не будете воспринимать меня всерьез, никакой революции не выйдет.

Но мы воспринимали. Несмотря на все его клоунские повадки, мечи и армию клерков, мы видели в нем кого-то, кто может сделать мир хоть чуточку другим.

Ясон сказал:

— Подкожный жемчуг. Держу пари, у вас ходят о нем легенды.

Ясон запустил руку мне под воротник и вытащил ожерелье. Свет, переливающийся в нем, казался почти живым. Какая глупая мысль, он ведь и был жизнью.

— Ты переоцениваешь наше любопытство, — сказал Орест. Но легкой иронии для того, чтобы остановить Ясона, было явно недостаточно.

— Это не просто метка, которую ставят на вас хозяева. Это монеты жизни.

— Мы с Полиником думали, что подкожный жемчуг не менее важен, чем все эти сложные системы очистки воды и воздуха.

— Кто такой этот чертов Полиник?

Я улыбнулась.

— А вы, раз все лучше знаете, этого сказать не можете?

Казалось, Ясон мной доволен.

— Так вот, — продолжил он. — Подкожный жемчуг — это атомы тепла, которое приберегла для нас наша планетка. Это то, что они забирают у нас.

Я не могла вытерпеть ни его самодовольного тона, ни нерасторопной речи.

— Подкожный жемчуг поддерживает жизнь тех, кто внутри. Спящих!

На этот раз Ясон взглянул на меня не как на милое животное. Я почувствовала себя очень важной.

— Хорошо, девочка. Что ты еще знаешь?

В ответ я покачала головой, решив, что не стоит пускаться в пространный рассказ о том, как наши с Полиником плодотворные размышления прервала Ио, которую мы приняли за призрака.

— То-то же. Главного-то вы не знаете.

Мы с Орестом слушали его внимательно, как дети. Я вдруг испытала праздничное чувство — сейчас он скажет такое, что все перевернет.

— Спят они тоже благодаря подкожному жемчугу. Он вшит в них. Одиссей, не к ночи он будет помянут, нашел в своей Пенелопе (хотя я не уверен, что ее звали именно так) именно жемчуг, он видел, как его женщина исторгала из себя эту жизнь. Множество почерневших жемчужинок. Она была изгнана из рая.

Мертворожденная. Есть холодная, мертвая утроба, и рождение из нее означает смерть.

— Так значит, Орфея нельзя вернуть? — спросила я, тут же качая головой, словно даже в вопрос этот не до конца верила.

— Можно. Просто не так. Если твой хозяин его отпустит, Орфей погибнет. Он способен существовать только благодаря подкожному жемчугу внутри него. Видела бы ты, во что превратилась любимая Одиссея.

— Не думаю, что это хорошая тема для разговора, — сказал Орест.

— А ты у нас эстет?

Я часто фантазировала, в том числе и о страшных вещах, но сейчас представление получилось слишком реалистичным. Я видела девушку, сквозь кожу которой пробивались черные жемчужины. Словно вскрывшиеся гноиники или личинки, разрывающие плоть. Стало душно и немного затошнило.

Подкожным жемчугом наполнен и Орфей. Наверняка, Сто Одиннадцатый запустил в него множество жемчужин, когда проник в его нервную систему. Любой, кого когда-либо заимствовала тварь, мог быть заражен, но Орфей состоял из ужаса.

— Так вот, — сказал Ясон. — Повернитесь-ка ко мне и слушайте дальше. Мои люди

собирают информацию со всего мира, и у нас достаточно сведений. Многие пожертвовали жизнью ради них, так что имейте уважение.

Я понимала, о чем он. Это была не просто информация. Ради нее люди экспериментировали над собой, теряли статус, возможность творить, даже жизнь.

— В больших количествах жемчуг вводит в стазис, усыпляет живое существо. Но теоретически он может поддерживать мертвое. Это эссенция жизни, понимаете?

В глазах Ясона было что-то от блеска подкожного жемчуга, я опять ощутила приступ тошноты. Все эти подробности были такими жуткими. Я снова и снова представляла, как жемчужины прорывают плоть, и мне захотелось снять свое ожерелье. Каким все это было чужим — хуже ножа и пистолета, хуже любой болезни. Холод из открытого космоса.

Как странно, жизнь, содержащаяся в нашей земле и во всех ее обитателях, становилась чуждой и невыразимо страшной. Мне чудились пульсирующие щупальца, пускающие в мышцы и органы эту переработанную в камень жизнь. Ясон не мешал мне. Он смотрел на меня и улыбался.

Я должна была до конца осознать, что происходит, чтобы по-настоящему быть с Ясоном. И я не сомневалась, что те, кто терпеливо расшифровывал записи и те, кто их когда-то составлял, хорошо представляли себе все это.

Отвращение может быть лучшим топливом, чем страх или даже месть. У отвращения глубокие корни, его едва можно осмыслить, оно берется с самого дна сознания. Отвращение — это первобытный страх, страх перед чем-то первостепенно важным — смертью, болезнью, страшными насекомыми и ядовитыми цветами. Источаемые небытием запахи. Не у всего из этого даже есть имя. Но все оно чужое.

Вот что было лучше, чем сознательный страх или гнев. Отвращение гонит вперед, потому что мир становится невыносим.

— Мерзость, правда? — спросил Ясон. Он прекрасно знал, как действуют эти слова. Никаких сочных описаний, только то, что придет в голову каждому.

— С моей стороны было бы честно не скрывать от вас правды, — сказал Ясон. — Не думаю, что она вам как-то поможет.

Правда была в том, что моего брата не окружают прекрасные жемчужинки в вечном холоде и темноте.

Он состоит из них. Они в нем. Тварь в нем. Но в нем и великий свет, и Земля, какой она была когда-то. Идея жизни.

Не-живой король. Не мертвый, потому что в мертвеце больше нет никакой жизни. Как нечто столь прекрасное, абсолютный свет и тепло, могло быть спрятано в отвратительную оболочку из иных миров? В этом и была суть. В сочетании. Свое и чужое.

Мысли мои становились все более беспокойным, и я чувствовала, что теряю над ними контроль. Мне казалось, будто у меня в груди открылась воронка, и внутри у нее была пустота, и все туда затягивалось, и не было больше ничего разумного.

Я попросила Ясона объяснять дальше, и он перехватил маркер, как волшебную палочку. Он свыкся со всеми мыслями, и ему доставляло удовольствие, что я — нет.

Ясон говорил весело, и я слушала его, словно все это было одной из жутких историй, рассказанных в брошюрке "Бестелесного Джека". Интересно, думала я, надо же. И что-то во мне никак не хотело принять слова Ясона глубже, внутрь. Орест выглядел взволнованным, и я почти не понимала, почему. Ясон иногда хлопал меня по плечу, словно бы выражал сочувствие, его светлые, злые глаза в тот момент казались мне странными, как будто он был

пьян.

На самом деле, конечно, это я была пьяна его словами. Орфей учил меня считать звезды, когда мне тяжело. Он говорил, у каждой звезды есть имя, потому что ты можешь его дать. И я стала считать, но названия утекали из моей памяти, и я стала думать и вспоминать. Тогда Ясон сказал:

— Ты меня слушаешь? Я повторю сначала.

Именно в тот момент я вспомнила, что на самом деле заставило мои мысли уплывать, а голову кружиться. Ясон сказал, что я должна убить Орфея. И я сразу подумала: он ведь привел Одиссея совсем не туда, вдруг я стану, как он?

Еще я подумала, как же так, мой брат умрет из-за меня, чтобы я могла его спасти?

Непростые вопросы роились вокруг меня, как пчелы, ответы должны были напитать их, словно мед, но меда нигде не было. Я стала отгонять вопросы руками, а Ясон повторил еще раз то, что я уже помнила. Мне казалось, каждое слово выжжено им для меня. Все время шуршала бумага, и скрипели ручки, кто-то вздыхал. Я обернулась, но не увидела Ио. Она показалась мне волшебным существом, приведшим меня к Ясону. И теперь она растворилась без следа.

Мне было так беспокойно, и я просто хотела обнять Орфея. Но для этого мне нужно убить его.

Вот что говорил Ясон, вот что я слышала, и мне отчего-то было стыдно, что Орест сидит рядом, когда я принимаю такие решения. Ясон говорил, что, согласно всем его сведениям, только нарушение жизнеспособности организма может вывести его из стазиса, но жемчуг не даст ему умереть до конца. Ясон говорил, что это не убийство, как таковое, потому что Орфей не живет, и потому что, если Сто Одиннадцатый однажды отпустит его, Орфей погибнет, его организм быстро опустошит жемчужины, а новых он не получит. Этот смертельный симбиоз нельзя было просто прервать.

Два существа в одном. Так теперь будет всегда. Что я могла сделать с этим? Ясон сказал, что Орфей выйдет из анабиоза и в этот момент сможет захватить контроль над телом Сто Одиннадцатого, потому как его нервная система намного более развита. Ясон еще что-то говорил, он маркером рисовал на тысячелетней плитке платформы схемы, отростки нервов, смешные кружочки жемчужин. А я думала, надо же, однажды люди построили метро, и оно казалось им произведением искусства, затем они мусорили в нем и дрались, и ездили на ненавистную работу. И вот прошло много-много лет, теперь ни один полицейский не оштрафует Ясона за вандализм, и он может рисовать на плитке, словно на бумаге.

Вместе с историей исчезли и ее памятники. Все стало воспроизводимым и совсем потеряло ценность. Где-нибудь в Зоосаду, безусловно, есть копия этого места, только без рисунков, рыцарей-клерков, меня и других чуждых элементов.

Ясон все говорил и говорил, и я хотела ему сказать, что ничего не понимаю в нейрофизиологии, и что Орфей бы понял, но его нет.

Орфей должен быть. Ради этого я, в конце концов, была здесь. И важно теперь понять, как именно этого добиться. Ясон сказал, что его разум не успеет умереть, интеграция случится слишком быстро. Ясон сказал, что это все дело его жизни, а я спросила его:

— А может ты маньяк, которому нравится подбивать других убивать людей?

— Может, — ответил он, оскалившись. — Но что ты тогда будешь делать? Откажешься от идеи воскресить брата.

Он был коршун и питался чужим горем. Но Ясон делал это не из тщеславия или

жадности, он просто хотел нас всех спасти и верил в то, что это возможно. Лицо его становилось таким мечтательным. Дело его жизни воплощалось во мне и измерялось моей готовностью убить брата.

— Он станет совершенно новым существом! — говорил Ясон. И если раньше в его повадках было больше от военного, то сейчас ему не хватало белого халата и залпов электричества позади, чтобы он стал похож на доктора Франкенштейна.

— Я правда первая, кто согласился?

— Мы не так давно нашли ответ, — ответил Ясон. А затем, словно бы чуть устыдившись, добавил:

— Кто-нибудь да согласится, у меня много агентов. Но ты здесь, и я здесь, и все может случиться очень скоро. Ты мне нужна, Эвридика. Ты всем нам нужна.

— Я вам не нужна, — ответила я. — Вам нужно, чтобы я убила своего брата.

— Кто боится смерти, не получит воскресения, так?

— Это девиз румынских фашистов. Мне такое не нравится.

Ясон замолчал, и я замолчала, а потом он встал, и я села рядом с Орестом. Мы болтали ногами, и я все думала, что обязательно должен выехать поезд. Пути были черные и пыльные. У меня были лавандовые туфельки со множеством застёжек, а у Ореста ботинки с острыми носами, такие блестящие, что мне сложно было назвать их черными.

— Что думаешь? — спросил он. — Веришь этому парню, Эвридика?

— Я не знаю. Наверное, я ему верю. Я имею в виду, я верю в то, что он сам верит в то, что говорит.

Орест сказал:

— Так как насчет Орфея?

— Все мальчишки мечтают стать королями.

— Я с детства хотел снимать порно.

Мы засмеялись, и я обняла его. Мне повезло с друзьями, но друзья не могут выбрать за тебя. На то они, собственно, и друзья, чтобы оставить выбор за тобой. Орест не говорил, что все это будет просто ужасно. И не говорил, что у меня может быть единственный шанс.

Он сказал:

— Ты прекрасный друг. И я знаю, что ты прекрасная сестра.

Это могло знать что угодно, так что почти ничего не значило. Я боялась, что смогу убить Орфея и боялась, что не смогу. В конце концов, я способна была ждать очень долго, но годы жизни Орфея вернуть не могла.

Он сильный, смелый и благородный, такой рассудительный и спокойный. Так всякий ли мальчишка хочет стать королем?

Ясон вернулся с тремя пластиковыми стаканчиками, от них пахло растворимым кофе.

— Хотите в подсобку? — спросил он. — Там даже диванчик есть. И больше я вам кофе приносить не буду. Но сами можете и заварить.

Я покачала головой. Кофе был действительно плохой. На Свалке он роскошью не был, инженеры продавали кофе за бесценок, ведь он не насыщал. Но Ясон словно бы специально купил самое дрянное, что только имелось в продаже. Мне стало почти обидно.

— Сахара тоже нет, — сказал Ясон, а затем плеснул себе в кофе какой-то прозрачной, пахнувшей алкоголем жидкости. Орест сказал:

— Доверия не вызывает.

— Пробовать будешь?

— Еще бы.

Теперь мы снова сидели втроем. Ясон был рядом со мной, и я чувствовала, что он такой же теплый, как и все другие люди. Моя история подходила к концу, и я это знала. Нужно было выбирать. Я сказала:

— А что должен будет делать не-живой король?

— Вести нас. Если с ним все пройдет успешно, по всей стране люди начнут возвращать своих любимых. У нас будет армия.

— Представляешь, сколько их во Вселенной? Они раздавят нас.

— Но мы сможем воевать с ними на равных. И продемонстрировать все эволюционные преимущества человеческой нервной и душевной организации.

— Или все недостатки, если уж мы собираемся иметь дело с расой космических захватчиков.

— Так мы собираемся?

Я промолчала, мне стало так неловко, что я даже сделала глоток отвратительного кофе и тут же об этом пожалела.

Орест сказал:

— Но что насчет Орфея? Он сможет жить нормальной жизнью?

— Сможет жить. Или умрет. И то и другое много милосерднее его теперешнего состояния.

Да откуда Ясону было знать? Никто из нас не знал, что с теми, кто провел внутри тварей так долго, как и с теми, кто мертв. Моя учительница говорила (я подслушала это), что чувствовала холод, а потом — ничего. Но если ничего продолжается довольно долго, это уже непохоже на сон.

Все же у кофе был уютный запах. Когда-то, еще у Нетронутого Моря, учителя пили такой кофе в перерывах, они зевали и делились сплетнями, и иногда ловили меня и говорили, что нехорошо прятаться вот так. А я рассматривала их туфли, у которых были блестящие носы. Я отлично помнила, как учительница истории говорила о законсервированном времени, эта мысль тогда показалась мне очень важной, и я до сих пор часто думаю ее в разных вариациях.

Орфей любил эту жизнь со смешными, глотающими кофе учительницами. Преступлением было бы не попытаться подарить ему все это снова. Даже дышать всегда было огромным наслаждением.

— От тебя ничего особо не требуется, — говорил Ясон. — Только нанеси удар, ты даже не почувствуешь, что он умирает.

Ясон не знал и не мог знать, что я увижу, и что почувствую. И я не могла заставить себя поверить ему, хотя, безусловно, так было бы намного легче.

— Ясон, прекрати вести себя, как галлюцинаторный бред, — сказал Орест.

Ясон засмеялся, а я нет. Я вдруг почувствовала себя игрушкой, которую забыли завести. Что же было не так с идеей Ясона? Или, лучше сказать, что в ней вообще могло понравиться?

Я смотрела на схемы на полу и ничего не понимала в них. Тогда я спросила про мисс Пластик.

— Вам ее не жаль?

Ясон сразу понял, о ком я говорю. Он сказал:

— Слабачка.

Но я видела, что ему жаль. Быть может, это было решающим фактором. Его светлые глаза в тот момент потемнели, а губы скривились. Я подумала, что мисс Пластик была ему очень важна, и ему жалко, что так все вышло, и он ничего из этого не может сказать, потому что жизнь положил на то, чтобы казаться злее, чем есть.

Я обняла Ясона, и он вздрогнул.

— Что ты делаешь? Я сейчас передумаю доверять тебе хоть сколь-нибудь ответственное задание. Ты же мямля.

Я молчала. У Ясона билось сердце, и это был громкий, мерный звук. Он сказал:

— Ну да ладно. Хотите прогуляться по путям?

И я ответила, что очень хочу, а Орест сказал, что делать все равно нечего. И мы прыгнули вниз, как очень плохие дети в фильмах, и пошли вперед, туда, где было темно. Я видела провода, толстые и пыльные, похожие на гигантских мертвых змей, а потом все стало пустым и темным, только где-то далеко горел желтый огонек.

— Здесь неплохо, — говорил Ясон. — Хуже, чем в Зоосаду, но под землей еще остаются какие-то силы. Здесь легче дышится.

Я вдохнула поглубже и почувствовала разницу, хотя, быть может, Ясон успокаивал себя, а я была слишком доверчивой.

— Интересно, — спросила я. — Почему мы можем ходить в темноте, даже когда почти ничего не видим?

— Благодаря вестибулярному аппарату и проприоцепции, — ответил Ясон. — Мой вопрос: как вам наш парк?

— Если представить, что эти пыльные провода — лианы, выглядит даже экзотически, — ответил Орест. — В таком случае я вопрошаю, почему все здесь, кроме нас, естественно, ходят в белом?

— Потому что мы ждем, — сказал Ясон. — И мы надеемся.

То, что начиналось как смешная игра, превратилось вдруг в серьезный, грустный разговор.

— И умирать легче, — сказал Ясон. — Если веришь. Я видел таких, кто почти не боялся.

Еще некоторое время мы шли в полной темноте, а потом свет, похожий издали на желтый цветок, постепенно стал разрастаться, и я увидела поезд. Он был как доисторический зверь, вернее его замерший скелет.

— Знаешь, мы стараемся поддерживать Свалку. Это все же живое место. Электричество, вода. Люди работают, чтобы у других все это было.

Твари вправду почти не мешали людям Свалки делать то, что они хотят. Просто у человечества оставалось все меньше сил. Общественный транспорт первым пришел в упадок, люди стали менее мобильны. Но многие другие сферы были еще живы. На Свалке оставались школы, электростанции, больницы.

— Представь себе, сколько мы могли бы сделать с нашим не-живым королем, символом свободы и возможности жить дальше вопреки всему?

— Ты опять за свое?

Я коснулась пальцами провода, чего, я читала, делать категорически нельзя, и подушечки пальцев стали серыми от пыли. Как помещение могло быть одновременно жилым и заброшенным?

Орест сказал:

— Дай угадаю, это не экскурсия, ты просто хочешь достать нож и угрожать нам?

— Нет. Просто хочу вас отвлечь. Напряженный мыслительный процесс, направленный на одну единственную проблему, вопреки всем ожиданиям, не способствует решению.

Это правда. Фокусируясь на вопросе своей жизни — попробовать ли убить Орфея, чтобы освободить его, я чувствовала себя покинутой и растерянной. Но когда я смотрела на провода, мир вдруг обретал ясные очертания и становился легким. Орфей как-то говорил, что на самом деле во Вселенной доминируют очень простые формы. Мы залезли в вагон, дверь была открыта, и я увидела что-то вроде ночлежки. На сиденья были накинuty простыни, одеяла и подушки. Люди спали, читали, кто-то помахал нам, кто-то склонил голову перед Ясоном.

— Мы работаем в несколько смен, — сказал Ясон. — У кого нет дома, тот спит здесь. Или кто слишком устал.

Я и вправду увидела людей таких тоненьких и так сильно дрожащих, что у них вряд ли были силы даже для того, чтобы встать. Одного из таких мужчин кормила с ложки старая женщина. Она нежно улыбалась ему, как будто он был ее сыном, а его губы жадно обхватывали ложку.

— В целом мы стараемся помогать друг другу.

— Если ты хотел, чтобы я увидела, что вы не какие-то там злодеи, и я так поняла, что вы не какие-то там злодеи.

— Ты ведь думаешь, что повторение это смешно?

— Может быть и страшно.

Я села на одну из этих кроватей. Сиденья были очень мягкими, наверное, старую кожу в них заменили и сильнее набили их ватой или синтепоном, так что отчасти это даже были матрасы. Только дискретные, как сказал бы Орфей. Я засмеялась.

— Есть хочешь? — спросил Ясон, а потом, не дожидаясь моего ответа, взял с одного из столиков, стоявших в проходе, буханку хлеба. Оказалось, что хлеб совершенно безвкусен.

— Местный.

Ясон точно хотел, чтобы я испытала вину. Хлеб был вязкий и чудовищный.

— Просто сделай это завтра, — сказал он. — Сделай как можно скорее. И у нас будет шанс. Дай мне знать, через Ореста, если все получится.

И я отчего-то сказала:

— Если все получится, вам не нужен будет посыльный. Все узнают.

А что будет, когда узнают твари? Что сделает Первая? Я спросила об этом у Ясона, и он сказал:

— Тогда все начнется. Тысячи моих агентов по всему миру согласятся убить Спящих. Не успеют они опомниться, как мы станем им равны. Подумай, эти люди обретут бессмертие и славу.

А сколько они потеряют? Этого я уже не стала спрашивать. Я попросила:

— Приведи ко мне Ио, хорошо?

— Ио? — Ясон чуть вскинул брови, вид у него стал комичный. — Я-то думал, что собеседник из меня получше. Ну да ладно. Ты тоже так себе.

Ясон оставил нас с Орестом в этом чужом и жутковатом месте.

— Похоже на передвижной приют для бездомных, правда? — спросил Орест. Вид у него был только чуточку брезгливый. Это была единственная эмоция, которую Орест не умел унять или игнорировать.

— Немножко.

Ио пришла через пару минут, мгновенно нарушив наше тягостное молчание.

— Ну, чего? Как вам здесь? По-моему, прикольно. Ясон вам понравился? Он такой крутой! Я знала, что он вам понравится!

Мы молчали.

— Ладно, понятно, он вам не очень. Ну, сначала он всем не очень. Когда мы встретились в первый раз, я его ударила!

Один голос Ио казался мне ободряющим. Может быть, дело было в его золотистой (есть золотой цвет, есть металл — золото, и есть нечто золотистое, звенящее и веселое), взвивающейся вверх интонации.

— Ты знала, что он мне предложит? — спросила я. Ио села рядом, и я подумала, сколько еще комбинаций я могу собрать за сегодня? Орфей любил комбинаторику.

— Знала, — сказала Ио. — Но ты нам правда нужна. Однако, пойми, ничего, если вдруг ты не решишься — многие не решатся. Ну и ладно.

Ио говорила по-другому. Она была искренней, и я видела, что ей обидно, и что она волнуется, но также видела, что ей важно, чтобы я решила сама.

— Знаешь, — сказала она. — Переспи с этой мыслью. В смысле подремай. У тебя такой бледный вид, и синяки под глазами.

— Из-за Свалки, наверное.

— Ну, может. Все равно отдохни.

Она подвинулась, и я положила голову на ее колени, а ноги вытянула на Ореста.

— Я не против, — сказал он. — Хотя считаю это началом отличного менаж а труа, как говорили древние.

Ио засмеялась, а я закрыла глаза и поняла, как сильно у меня болит голова. Ио вдруг запела, негромко, но удивительно плохо. Это была песня о далеких кораблях со снежно-белыми парусами. Непотонувшие Корабли Нетронутого Моря, вот как она называлась. Я как-то слышала ее, тогда тоже пела девочка. Мы всем приютом смотрели на закат, погружавший солнце в море, и та девочка запела лучше и чище Ио, но в этом голосе не было такой заботы обо мне, и поэтому пение Ио понравилось мне больше.

Не то мне приснилось, не то я вспомнила, как мы говорили с Орфеем тогда, и о чем. Та девочка все пела, песня была длинная, как будто без конца, а Орфей сидел передо мной, чуть раскачиваясь в такт музыке. Палец его выводил на песке цифры. Мой блокнот тоже лежал в золоте и ракушках, так что написанных на его страницах слов было почти не видно.

— Я так люблю тебя, — сказал Орфей. — Я правда тебя люблю. И я хочу, чтобы ты была счастлива.

— Я уже счастлива, — ответила я и улыбнулась.

— Я хочу быть героем для тебя. Хочу быть капитаном того корабля.

Я взяла его за руку, ладонь оказалась колкая от песка. И тогда Орфей вдруг сказал:

— Я бы хотел помочь нам всем стать кем-то, кого запомнят. Мне страшно просто исчезнуть. Все это не должно быть бессмысленным.

И я поняла, что все это время Орфей говорил вовсе не о том, о чем мне казалось. Я обняла его крепко-крепко, и мы смотрели, как ушло солнце.

А потом я не то проснулась, не то просто открыла глаза. Я не знала, чего хочу я. Однако, я точно знала, чего хотел бы Орфей.

Я сказала Ио:

— Мне надо домой.

— Ты подумала обо всем?

Но я ничего ей не ответила. Ио долго искала Ясона, но его не было. Так я поняла, что проспала дольше, чем думала. Орест ни о чем меня не спрашивал, и это было правильно. Они с Ио болтали, пока мы поднимались вверх, и, мне казалось, что они нравятся друг другу. Это было приятно.

Над Свалкой шел дождь, но его капли не приносили свежести и облегчения.

Когда мы вернулись в Зоосад, больше всего мне хотелось поспать. Но у меня было множество дел, и я чувствовала себя очень легкой от недостатка сна и голода, нахлынувшего на меня после посещения Свалки. Из всех радостей, присущих жизни, я могла позволить себе душ и завтрак. У меня было так много дел, но, главное, я знала что именно мне нужно. Принятое решение сделало все невесомым.

Ио сказала:

— Я вернусь к Ясону, чтобы помочь с дневником. Ему что-то передать?

Я, чуть погодя, ответила:

— Передай, что я попробую сделать это сегодня.

— Пойми, если ты не справишься, сделает кто-то другой. Но ты, в отличие от многих, в более выгодном положении изначально. Ты сидишь с ним одна, никаких свидетелей, все будет чисто и тайно.

— Я не уверена, что будет чисто.

Ио, однако, крепко меня обняла и поцеловала в обе щеки, будто была старым мафиози из древнего фильма. Орест спросил, проводить ли меня, но я только покачала головой. Теперь я чувствовала себя очень сильной. Орест, казалось, это понимал. И еще он был очень даже не против проводить совсем другую девушку. Так что я пошла домой одна, ни о чем не думая. Казалось, что все решения уже были у меня, в моем воображении я доставала одну из любимых музыкальных шкатулок, открывала ее, и в ней лежали все мои блестящие поступки. Нужно было вытащить один и применить, затем повторить по необходимости.

У порога меня встретил Гектор.

— Что с тобой?

Вопрос был глупым, и даже Гектор это понимал.

— Я играла в официантку, — сказала я. Видимо, он понял, что шучу, стал от этого бледнее и злее.

— Эвридика, я ответственен за тебя, ты не можешь просто ходить на Свалку когда и с кем тебе вздумается.

— Не могу? — спросила я. Гектор разозлился еще больше. Он взял меня за руку и потянул в дом. Я хотела помыться, поэтому направилась к ванной, но Гектор остановил меня и усадил в кресло. В нашем прекрасном доме с мышьяково-зелеными обоями, мебелью в золотых вензелях и большим камином, я вдруг стала смотреться нелепо. Гектор сел передо мной.

— Знаешь, почему я тебя не выдал?

— Ты заметил меня?

— Ты не слишком-то умеешь скрываться. И ты не старалась.

Тут я даже немного обиделась, потому что я очень старалась.

— Мне было нужно туда, Гектор.

— Я так и подумал. И я надеялся, что ты вернешься.

А потом я поняла, что Гектор для меня сделал. Он пошел против своих принципов, он отпустил меня одну в очень опасное место, надеясь, что мне и вправду надо быть там. Он знал, что ответит за мое исчезновение, но он меня не остановил.

— Это из-за твоего брата, так?

Гектор говорил с какой-то невероятной неловкостью. Я ведь знала, что он стукач. И Гектор думал, что я ему не верю. Но как же он ошибался. Я улыбнулась ему.

— Да. Из-за моего брата. Мне нужно было кое-что узнать.

— Я подумал, что если остановлю тебя, ты никогда меня не простишь.

— Наверное, так и было бы.

— Но все же я надеялся, что ошибаюсь, и ты идешь не туда, а, к примеру, на Биеннале.

— Я бы позвала тебя с собой.

— Да, я тоже так подумал.

— Давай я переоденусь, и мы продолжим этот странный разговор, когда я буду в подходящем костюме.

Гектор остался сидеть, а я пошла в свою комнату, взяла одежду и отправилась в душ. Лаванда успокаивала, а жар воды придавал сил. Я думала о том, чем Гектор пожертвовал ради меня, и становилось немного стыдно. Когда я вышла, оказалось, что он приготовил чай, пахнущий бергамотом и мятой. Я выпила половину чашки одним глотком, хотя чай был очень горячий. Гектор налил еще. Обычно я делала это для него.

— Да, после Свалки очень хочется пить.

И я подумала, что, может быть, совсем не знала этого человека. Он казался мне снобом, забывшем о себе прошлом, но Гектор не забыл. Я думала, он скорее умрет, чем нарушит единственное правило, но он меня не предал.

— Где Медея? — спросила я.

— С отцом. Попросила выходной.

Я сказала, что приготовлю завтрак, чтобы подумать. Я не могла рассказать Гектору обо всем. В конце концов, ошибившись в нем один раз, я могла ошибиться и во второй. Я делала сэндвичи, словно машина. Все они выходили некрасивыми, но мои движения стали такими чеканными.

— Твои любимые сэндвичи с огурцом и ветчиной, — сказала я Гектору. — Сэндвичи с сыром и индейкой, вареные яйца, тосты, джем, масло и мед.

— Спасибо, Эвридика. Ты уверена, что не хочешь...

Я поставила на стол один поднос, затем второй, а затем расплакалась. Мне захотелось утереть слезы одним из сэндвичей рядом, но леди так не делают. Так что я его съела, а затем съела еще один, а третий намазала медом и джемом. Казалось, я никогда не стану сытой. После пятого заболел живот, но голод не ушел.

— Ты все еще плачешь.

— Просто очень вкусно.

— Что за чушь, Эвридика?

Потом мы молча пили чай, и мне стало совсем неловко. Я сказала:

— Я очень скучаю по Орфею. Ты не представляешь, как сильно.

— Представляю, — ответил Гектор, но больше ничего не сказал. Я знала, что мне нельзя все ему рассказывать. Но в тот момент я была переполнена такой нежностью к нему.

— Просто поверь. То, что я делаю, очень важно. Для нас всех. Вообще всех.

— Ты меня заинтриговала.

Но Гектор не стал спрашивать. Не то решил, что все, что я говорю — чушь, не то понял, что мне не хочется рассказывать больше. Он сказал:

— Я разожгу камин.

И мы пили чай, и слушали, как шумит вода за окном и огонь внутри. Было очень

хорошо, и я почти задремала, а затем вспомнила обо всех важных вещах сразу.

— Мне пора, — сказала я. — Мне нужно успеть все до вечера.

— Что успеть?

— Все успеть, я же сказала. И, Гектор, ты же знаешь, что ты — моя семья?

Глаза у него были такие, как будто Гектор этого не знал. Он вдруг улыбнулся, а потом сказал:

— Тебе нужно идти, ты еще не забыла?

Я не забыла, и я оставила его не без сожаления. Никогда еще нам не было так уютно вдвоем. Завтра нужно будет достать лекарства для отца Медеи, раз уж они понадобились ему раньше, думала я. А потом думала еще: если завтра наступит. Но были иные варианты: завтра могло оказаться совсем другим. Непохожим на все предыдущие дни. Я шла к Тесею, потому что он был нужен мне, как никто. Во всем остальном я могла бы обойтись самой собой (хотя и без еще одного человека придется трудно), однако Тесей был мне совершенно необходим. Я не знала, застану ли его дома, но надеялась, что в столь ранний (по его мнению) час, Тесей еще спит. Тесей был очень привязан к Орфею, и я не могла предсказать его реакцию. Он был феноменальным гением, невероятно самовлюбленным красавчиком и оголтелым гедонистом, но сердце у него было не только в физиологическом смысле. Я понимала, что он может отказаться. И я не была Ясоном, так что понятия не имела, как его уговорить. Орфей сказал бы, что нужно действовать по ситуации, как и всегда с Тесеем. Они знали друг друга с шестнадцати лет и многое вместе прошли. Я знала, что Орфей дорог Тесею, это было одновременно залогом успеха и обещанием неудачи.

Тесей жил по-своим правилам. Последняя любила наблюдать позднюю античность, а Тесей предпочитал ходить в костюме шута, но покои Тесея не сочетались ни с тем, ни с другим. Он жил преувеличенно богато. Ему нравилось быть снобом из журнала, нравился мини-гольф в комнате, и всякие прозрачные бокалы, наполненные дорогим, сияющим алкоголем. Он любил все эти высокие потолки, белые шторы и хрустальные люстры. Казалось, однажды Тесей наденет рубашку поло, белые брюки от именитого дизайнера, ботинки, в которых хорошо прогуливаться по своей яхте, и все это перестанет быть ироничным.

Сегодня такое почти случилось. Правда, Тесей открыл мне дверь в атласном халате сиропного цвета, но ирония правда начала гаснуть без его дурацкого колпака. Тесей широко зевнул, продемонстрировав мне белые, крепкие и ровные зубы. На его шее висело ожерелье, и оттого Тесей был похож на протрезвевшего золотого мальчика, позаимствовавшего ожерелье у богатой мамы, и теперь вовсе о нем забывшего.

— Эвридика? Что тебе надо?

Он тут же натянул дежурную улыбку. Я называла его "маленьким актером", когда он был мальчишкой в два раза выше меня. Тесей пустил меня внутрь, и я осмотрелась. Такие высокие окна, и столько хрусталя, а в холле можно припарковать машину. Тесею ни в чем не отказывали, но он не становился счастливее. Я увидела на чистом стеклянном столике бутылку коньяка и блистер с таблетками.

— Мне нужна твоя помощь, — сказала я. — Вернее, Орфею нужна твоя помощь. Тесей, ты выслушаешь меня?

Он почесал затылок, а потом сел на кожаный белый диван и положил ноги на столик, задумчиво взял бутылку и сделал пару глотков.

— Гадость, если честно, — сказал Тесей.

— Тогда зачем ты пьешь?

— Спроси чего полегче.

Я села рядом с Тесеем, развернула его к себе, и он поддался мне, словно кукла. Я подумала, что Орфей хотел быть машиной, потому что видел в этом счастье, а Тесей хотел быть машиной, потому что так мог бы спастись от несчастья. Я сказала ему:

— Ты — великий музыкант. Тебе нет равных.

— Так ты пришла, чтобы похвалить меня? Спасибо, но я все это знаю.

— Я пришла, чтобы попросить тебя превзойти себя. Ты должен сыграть так, чтобы ввести всех тварей нашего района в транс. Договорись с Последней, пожалуйста. Быть может, она будет только рада показать свою силу. Пусть будут усилители, чтобы музыка была везде. Это можно устроить? У тебя есть знакомые инженеры?

Глаза Тесея загорелись. На секунду я подумала, что удастся ничего не объяснять. Тесей, в конце концов, был достаточно тщеславен для этого. Он упивался своей властью, и мне нужно было, чтобы он продемонстрировал ее по-настоящему. Тесей был единственным, кто вправду мог ненадолго их усыпить. Я не сомневалась в нем ни секунды. Он сказал:

— И зачем тебе это?

— Чтобы тебя прославить, — я засмеялась, но Тесей остался серьезен. И тогда я сказала:

— Хорошо, мне нужно, чтобы ты устроил мне слепое пятно. Все твари и, желательно, даже люди должны слушать тебя так внимательно, чтобы я оказалась одна в целом районе. Понимаешь?

Потому что важнейшая вещь, которую творит с нами искусство, заключается в том, что оно вырывает нас из мира.

— Понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаю, зачем тебе все это.

Тесей посмотрел в янтарную гладь коньяка, и я сказала:

— Ради моего брата. Я убью его тело и воскрешу его душу.

— Что?

Орфей отставил бутылку и посмотрел на меня внимательно и тревожно. Теперь в нем не было ничего автоматического, он в секунду перестал быть машиной по употреблению алкоголя и воспроизведению лучшей музыки на земле.

— Ты окончательно чокнулась?

— Я не чокнулась, я конверсионная истеричка.

— Жалкое оправдание.

— А ты — бездушный нарцисс.

— Вот это походит на правду.

Я посмотрела на него очень внимательно. На красивом и бесчувственном лице Тесея теперь отражалось так несвойственное ему волнение — за меня и за Орфея. Я сказала:

— Если ты послушаешь меня, я обещаю, что все станет понятнее.

Он послушал меня, а, когда я закончила, сказал:

— Понятнее стало. Этот Ясон, или как его там, промыл тебе мозги.

— Тесей, я приняла очень сложное решение.

— Ты говоришь так, будто вообще можешь принимать решения.

Иногда Тесей обижал меня вовсе не потому, что именно этого ему хотелось. Тесей не был злым человеком, по крайней мере, не сознательно злым, и поэтому казался в такие моменты особенно хрупким.

— Ты говоришь так, будто когда-то их принимал.

Тесей засмеялся, вышло легко и весело.

— И ты знаешь, почему это правильно. В любом случае. Безотносительно всего, что будет дальше.

Тесей осекся. Он посмотрел на меня глазами синими и совсем серьезными. Он ждал, что еще я скажу.

— Потому что это не жизнь, Тесей. Орфей не жив. Мне был сон о нем и...

— И ты все-все поняла.

— Не перебивай меня хоть раз в жизни.

Как только мы оставались наедине, Тесей всегда становился таким невыносимым мальчишкой. Но мне нужно было, чтобы он понял. Не только и не главным образом из-за помощи, а потому что Орфей был его другом.

— Он не хотел жить такой жизнью. И я вспомнила, какой — хотел. Ты хоть помнишь его голос? Походку? Ты помнишь, как он пересчитывал окна? Ты помнишь, как он читал нам вслух? Ты хотя бы помнишь, ради чего жило его тело? У Орфея есть душа. Это человек, у него есть чувства, мечты, радости, ради которых он жил. Я хочу вернуть ему их.

— Или чтобы он не существовал?

— Это милосерднее, чем жизнь в качестве беспомощного придатка твари. Это милосерднее, чем мучения, через которые проходит его тело. Это милосерднее, чем размывающаяся и исчезающая личность. Вот она правда, Тесей. И мы скрывали ее друг от друга и даже от себя. Если Ясон не прав, значит Орфей просто перестанет страдать.

— Он находится в забытии, он ничего не чувствует.

— Ты этого не знаешь. Оно в его нервной системе, в его мозгу. Ты хоть представляешь, как это страшно?

И я поняла, что сама не представляла до этого момента, и сейчас все это было, как удар.

— Если у нас есть шанс вернуть его или дать ему умереть, мы должны воспользоваться этим. Ты боишься, что его не будет, Тесей. И я боюсь. И я тоже не знаю, как мне с этим жить.

Я подумала: таблетки и алкоголь, всего этого не было, когда у Тесея был друг. Я так недооценивала степень его тоски.

— Но если мы только что-то можем, это нужно сделать. Я люблю его, Тесей, больше, чем когда-либо кого-либо любила и полюблю на этой Земле. И я хочу дать ему шанс. И я хочу, чтобы ты понял — жизнь это не тело, у которого есть пульс. Жизнь это такая огромная штука, это разум, чувства, ощущения, любовь и ненависть, и желания. А у него нет ничего, кроме пульса.

И я поняла, что не кричу и не плачу. Я была спокойна, как никогда до этого.

— Правильное решение не в том, чтобы оставить все как есть, когда ничего не осталось.

— И ты готова умереть за это?

— Это будет быстро и навсегда. Для меня и для него.

Я улыбнулась и подумала: или у нас будет долго и счастливо. Тесей сделал еще глоток из бутылки, принялся доставать таблетки из блистера. Они были розоватыми, и он выкладывал из них солнце, и волны моря, хотя никогда не видел их. Орфей рассказывал ему.

— Я не знаю. Я не думаю, что ты права, — сказал Тесей.

— Конечно, ты не думаешь, что я права. Но ты знаешь, что я права. Что так все и обстоит на самом деле. И тебе больно. И мне больно. Но нам и должно быть больно, потому

что Орфей попал в беду, и все это время мы предпочитали думать, что это просто пауза, и что это ничего не меняет. Но он никуда не уехал, и ему некуда написать. Он здесь, и он страдает. Пожалуйста, Тесей, давай поможем ему тем или иным способом.

— Подумай еще раз, Эвридика. Ты предлагаешь мне убить моего лучше друга.

— Не убить. А помочь мне отвлечь всех на случай, если у меня что-либо получится, и он станет не-живым королем.

— А если у тебя не получится?

— Значит, ты не так уж и нужен. Я предлагаю тебе сделать что-то, потому что я верю, что у нас все получится.

Лицо Тесея вдруг стало непроницаемо холодным, и я поняла, что у него нет никаких надежд. И даже если бы он слушал Ясона и смотрел бы на его схемы, никаких надежд бы не появилось. Тесей сказал:

— Ты просто хочешь, чтобы все закончилось.

— И он бы этого хотел.

— А ты понятия не имеешь, чего хочет он, Эвридика. И это самое страшное. Я не собираюсь в этом участвовать.

Он сделал еще глоток, а потом швырнул бутылку в стену, и брызги были такие янтарные, что мне показалось, будто в каждой капле содержится по насекомому. Тесей смахнул со стола таблетки, и они с шумом посыпались на пол. Я сказала:

— Достаточно было ответить словами.

— Уходи, Эвридика.

И я ушла. Потому что, в конце концов, я не знала, как сказать ему что-то, кроме правды. Я еще постояла перед дверью Тесея, в надежде, что он одумается, но вскоре заиграла музыка, пронзительная и нервная, и я поняла, что он репетирует, чтобы успокоиться. Так я решила сдаться.

Однако у меня были и другие дела. Мне захотелось пойти посмотреть на птиц, но я не стала. Нужно было сделать так много, прежде чем убить Орфея. Если бы я могла, я зашла бы попрощаться со всеми. Мне нечего было бояться. В шпионском романе на моих знакомых непременно пало бы подозрение. Но твари не мыслили в таких, слишком малых, масштабах. Если ничего не получится, Сто Одиннадцатый разберется со мной по собственному усмотрению — или ничего не сделает вовсе. Этот вариант Тесей не учел, а он ведь был вероятнее всех остальных.

Вот в чем наша фундаментальная, человеческая проблема и состояла. Мы думали о них, как о чудовищах, которых нужно побороть. Они же вовсе не думали о нас, и судьба отдельно взятых Орфея и Эвридики волновала их не больше, чем судьба человечества в целом. Я даже подумала, что они никогда не вели настоящие войны. Просто появлялись на планете и брали все, что им нужно. И то, что я сделаю с Орфеем, не заставит их обратить на меня внимание. Даже Сто Одиннадцатый, быть может, лишь выплюнет его тело, как песчинку, случайно попавшую в рот.

Мы все (особенно Ясон) хотели быть им противниками. А они не знали противников, и все наши проблемы мало их волновали. Вот и она, эта неудобная правда. Тесей говорил, что я готова пожертвовать жизнью, а я отвечала, что да, готова. Так, словно моя жизнь имеет любую другую ценность, кроме услаждения слуха Сто Одиннадцатого.

Отчего-то это ощущение отсутствия всякой опасности заставило меня грустить. Словно ничем не жертвуя, я становилась заурядной убийцей, а от этой мысли меня затошнило. Я

понимала, как мало мне может быть отпущено просто из-за каприза Сто Одиннадцатого, но поводом к моему убийству скорее могло стать неудачное предложение, нежели попытка убить собственного брата.

Если уж Сто Одиннадцатому так нужен будет человек, он может взять другого. Возможно, Гектора. И это будет хуже всего, хуже, чем если я умру. Но если Ясон прав — надо действовать. И даже если Ясон не прав — я права все равно.

Мне нужен был Одиссей. И я знала, что он-то не откажется мне помочь.

Найти его оказалось сложнее, чем я думала. Я все пыталась выяснить, где остановилась Первая, но никто не знал, и только Артемида, открывшая мне дверь почти сразу после того, как я нажала на звонок, ответила на мой вопрос. Она сказала:

— Ячейка 59С, далековато отсюда.

— Ничего, я доберусь.

— Зачем тебе Одиссей? По-моему, не лучшая идея проводить с ним время.

— По-моему тоже, но мне очень надо, чтобы он мне помог.

Артемида нахмурилась, ее абсолютно матовая красная помада показалась мне корочкой крови на ее губах. В остальном Артемида была очень красивой.

— Ты уверена, что тебе не могу помочь, скажем, я?

Я кивнула. Артемида точно не могла. Мне нужно было научиться убивать быстро и безошибочно. Я читала, что это очень сложно — нанести верный удар. А у меня будет только один шанс. Если кто и знал такие тонкости, то Одиссей, и уж точно не Артемида. Вокруг меня больше не было таких плохих людей.

Стану ли я сама убийцей, если Орфей не умрет в обычном смысле этого слова?

И как вообще жить дальше с тем, что я сделаю?

Ответы на эти вопросы были необходимы мне немедленно, так что я замерла перед Артемидой. Нет, не стану, решила я, потому как я спасу Орфея из небытия, подарив ему бытие, а это противоположно тому, что делает убийца.

И нет, жить с этим не придется, потому что если Орфей просто погибнет, как все земные люди (так говорят, но на самом деле ведь все люди — земные), я просто убью себя.

Все снова стало простым. Артемида сказала:

— Ты меня не слушаешь, девочка моя.

А я подумала, что всего на год младше Артемиды, и слово девочка ко мне не очень применимо. Потом я помахала Артемиде, и она закрыла дверь, а я начала свой путь в ячейку 59С. Дорога была долгой и на удивление спокойной, дождь стал сильнее, и я, кажется, передумала все грустные мысли, так что, в конце концов, их не осталось, и мне стало весело.

Одиссей открыл мне не сразу. Я даже подумала, что зря проделала весь этот путь, и что Одиссей, наверное, где-нибудь гуляет, осваиваясь в новом районе Зоосада. Я не знала, где его в таком случае можно найти. Он сворачивает шеи птицам в саду или поджигает цветы? Мои сомнения разрешились наилучшим образом — Одиссей открыл мне дверь. На нем была алая рубашка с меховыми манжетами, расшитая жемчугом, и он смотрелся смешно.

— Это точно исторически аккуратно?

— Понятия не имею, я был врачом.

Я улыбнулась. Очень, очень хорошо.

— Надеюсь, не психологом.

— Нет, не психологом.

— Может быть, хирургом?

— Нет, не хирургом.

Мои лучшие и худшие надежды не оправдались, тогда я спросила:

— Так каким врачом?

— Травматологом.

— Ладно, это хорошо.

— Что с тобой, Эвридика? Разве ты не думаешь, что я убью тебя, как глупую, маленькую птичку, попавшую ко мне в силочек.

— Да, я только что думала, что ты можешь убивать птиц. Но я тебе понравилась, и ты меня не тронешь.

— Опаснейшие мысли.

— Не старайся показаться хуже, чем ты есть.

Блуждающая улыбка не сходила с лица Одиссея. Отчасти он, определенно, не старался. Я сказала:

— Пропусти меня, пожалуйста, — и он отошел в сторону. Я прошла к Одиссею близко-близко, почувствовав его тепло. Мне хотелось показать ему, что я смелая (так делают дрессировщики, чтобы звери воспринимали их всерьез). Дом Одиссея только начинал ему принадлежать. Почти никакой мебели здесь пока не было, только стены покрасили под камень, да так искусно, что я на секунду почти поверила художнику.

В просторнейшем зале были только кровать за пара сундуков. Тяжело же, наверное, живется в этой стилизации. Пройдя чуть дальше, я заметила висящее на дальней стене оружие, все оно начищено серебрилось. Висели на стене и топоры, и мечи, и загнутые ятаганы, и тонкие, как жала, стилеты, с которых подмигивали драгоценные камни.

Одиссей стоял у меня за спиной, и мне было неудобно, но я не показывала этого.

— Нравится оружие? — спросил он.

— Нравится, — сказала я. — А теперь давай не будем делать вид, будто ты пригласил меня в гости.

Я услышала его мягкий смех, в нем было что-то от интимного шепота.

— Надо же, Эвридика, ты выглядишь взрослее. Теперь, может быть, я решу, что ты в моем вкусе. Детей я никогда не убивал.

Я вовсе не была ребенком, и это сравнение сегодня отчего-то стало обидным. Я сказала:

— Научи меня убивать человека с одного удара.

Одиссей будто бы не удивился. Он спросил:

— Этот человек больше тебя?

— Намного выше и больше меня.

— В таком случае сделать это будет еще сложнее, чем если вы равны. Он может сопротивляться.

— Не может.

Я казалась себе такой чудовищной, а Одиссей наслаждался этим. Он словно бы говорил со мной на равных, как убийца с убийцей, и меня затошнило от этой мысли, стало так мучительно плохо, но я не могла, не должна была передумать.

Одиссей сказал:

— Ты хочешь, чтобы он мучился?

— Нет. Я хочу, чтобы он умер быстро и легко.

Мне казалось, я почувствовала его широкую улыбку, хотя не видела ее. По спине у меня пробежали мурашки, словно я костным мозгом восприняла изменение в выражении его

лица.

— По тебе хорошо видно, как сильно ты этого не хочешь. Тогда зачем? Мечь?

— Я похожа на человека, который считает мечь хорошей задумкой?

Наш диалог был словно из нуарного фильма, такой черно-белый и полный несмешных колкостей. Мне нужно было платье с открытыми лопатками и повернуться к окну, а Одиссею совершенно необходима была шляпа. Я сказала:

— Я тебе расскажу. Я обещаю. Только сначала ты должен поклясться мне, что выполнишь свою часть сделки.

— Когда это мы перешли на деловой язык?

Я замолчала, пытаюсь понять, когда. Одиссей ответил за меня:

— Раз никто этого не заметил, то не будем заострять внимание. Итак, я обещаю выполнить свои условия договора, если сведения, которые предоставит мне вторая сторона, покажутся мне правдивыми.

— Ты это напишешь?

— Нет, конечно. Это же доказательство.

Мы снова играли. Одиссею не был страшен никакой суд (даже самосуд, на который никто бы не решился), потому что Первая любила, как он убивает. Одиссей говорил о своих убийствах свободно, не без расстройств, но уж точно без страха.

— Подтверждаю предложенные условия, — сказала я.

— Довольно нелепый канцелярит для писательницы.

А потом я развернулась к нему и все рассказала. Только языком трепать и умеешь, так бы Тесей ворчал. А что сказал бы Орфей я впервые не знала. Одиссей слушал меня очень внимательно. Он ни разу не перебил меня, даже когда я совсем запуталась в объяснениях Ясона. Когда я, наконец, закончила, Одиссей сказал:

— Не думаю, что Ясон — хороший человек.

— Он запутал тебя и заставил убивать. Я тоже думала, что он маньяк. Так ему и сказала.

— Никто меня не заставлял. Ясон просто хотел, чтобы я отстал от него. Я его преследовал, потому что мне нужен был ответ. Он сказал нечто неосторожное. Это привело к таким последствиям, потому что я был вне себя от горя.

И я подумала, что Одиссей продолжает говорить странным, отстраненным, канцелярским языком. И это значит, что ему больно, и за этими служебными конструкциями скрываются вещи невероятно страшные.

— Но я вправду думаю, что это хорошая идея.

— Только потому, что ты — серийный убийца?

— Нет, потому что я тоже способен на сострадание.

Я не была в этом уверена, но в то же время и опровергнуть не могла. Я вся была напряжена и смотрела на Одиссея, его же улыбка была опустошенной, словно он был где-то не здесь.

— Так ты хочешь этого или нет? — спросил он. Прозвучал вопрос так, словно Одиссей задавал его в постели. Впрочем, так звучали многие его вопросы. И я подумала, насколько в его идее убийства важна сексуальность. Но ответ я искать не стала, он вел в глубину мне неинтересную и очень-очень страшную. Одиссей взялся научить меня, и я старалась не думать о том, что руки, направляющие меня, совершали нечто большее, чем символическое убийство подушек.

Их на кровати было много, и чем больше мы их уничтожали, тем больше пуха

становилось вокруг, так что казалось, будто наступила зима. Одиссей учил меня бить в шею.

— Только не спереди, — сказал он. — Иначе случайно можешь сделать ему трахеотомию. Тебе ведь необходимо, чтобы твой брат умирал.

— Но не умер, — сказала я. — Не-живой король. Это не значит мертвый.

Одиссей снова и снова учил меня заносить руку и бить, я чувствовала себя увереннее, но Одиссей говорил:

— На самом деле не думаю, что этому можно научиться за один день и на подушках.

Сердце мое не было с ним согласно. Оно билось сильно и быстро, и я чувствовала, что мой удар становится лучше, как бы совпадая с этим ритмом, попадая в нужную точку. В сущности, это было как танец.

— Ты предлагаешь мне учиться на живых людях?

— Кто я такой, чтобы что-либо предлагать. Держи руку выше и представь, что бьешь в артерию. Тебе нужна будет большая сила. Нож слишком brutalный способ для тебя.

Но пистолета у меня не было, а отравить Орфея я не могла, ведь Сто Одиннадцатый не ел, о том, чтобы попытаться его задушить я и думать не смела — у меня не будет ни сил, ни времени.

Я чувствовала себя так, будто занималась спортом весь день — руки и плечи очень болели, и я вся взмокла, а моя прическа растрепалась. В конце концов, я легла на кровать и увидела, что стемнело. Я смотрела на мир снизу вверх, хорошо что луна была круглая и на нее можно было глядеть с любой стороны. Я попыталась отдышаться. Одиссей сказал:

— Чувствуешь себя более подготовленной?

— Чувствую себя усталой.

— Я предупреждал.

— Но уверенной.

— Это странный побочный эффект.

Одиссей лег рядом, хотя усталым он не выглядел. В нем сохранилось то странное, звериное изящество. Он поднял руку, и свет луны коснулся его ногтей. Эта рука приносила смерти.

Мои слабые руки не были на это способны (и я не жалела). Но сегодня я должна была быть сильной единственный раз.

— Ты не передумала?

Я только покачала головой, а потом повернулась к нему.

— Спасибо тебе, Одиссей. Ты много сделал для меня сегодня.

— Хорошо. Знаешь, я вправду хочу, чтобы у тебя все получилось. Мы с тобой и еще со многими людьми на Земле объединены. Мы потеряли наших близких. И если ты обрешь своего брата, это будет утешением для меня.

Хотя Одиссей, конечно, никого уже не вернет. Эмпатия — это благородство души, способность чувствовать не только чужую боль, но и чужую радость, как свою.

Когда я прощалась с ним, он выглядел очень человеческим, и мы обнялись. Он сказал:

— Хорошей ночи, Эвридика.

И в этом снова была сладкая насмешка, от которой к тому же пахло кровью. Я в последний раз взглянула на его пустую комнату и вышла. Было очень символично, что большое пространство его жилища ничем не было заполнено.

Такая пустая душа.

Я возвращалась, стараясь не думать о том, что мне предстоит сделать совсем скоро. Но

чем ближе к дому я подходила, тем неотвязнее становились эти мысли. Так что я была рада встретить у двери Полиника.

— Я пришел поговорить.

— Я так и подумала.

Голос мой оказался лишен всякого выражения, словно говорила не я. Глаза Полиника стали взволнованными, и он еще сильнее, чем обычно, напомнил мне щенка. Я сказала:

— Пойдем-ка в сад. Я расскажу тебе кое-что.

Интересно, думала я, сколько еще раз мне придется рассказать эту историю. Если судить по часам, выходило, что этот — последний. Полиник, кажется, чувствовал, что я скажу нечто странное или даже плохое. Вид у него был тоскливый, а голос словно бы угас.

— Я думал об этом парне, Ясоне. Выглядит вся эта история крайне мутно.

— Мутно, — сказала я. — Я в нее нырнула.

— Что?

— Это метафора.

Некоторое время мы молчали, словно Полиник на самом деле не хотел ничего знать. Мы вошли в сад, и запах ночных цветов опьянил меня. Сев на камни у ручья, мы посмотрели друга на друга. Полиник глядел с опаской, а я, по крайней мере мне так казалось, смотрела на него с надеждой. Потому что он мог согласиться. Он ведь тоже так тоскует по Исмене. А Семьсот Пятнадцатая — драгоценная дочь Первой, надо же какой это был бы удар. Я подумала, быть может моим рукам будет позволено забыть уроки Одиссея. Или, быть может, когда я освобожу Орфея, у нас уже будет не-живая королева. Все это было подло и нечестно, я ввязалась в эту историю, значит я должна была и пройти ее до конца.

Но все же, вдруг Полиник сам захочет. Я рассказывала ему так вдохновенно, как только могла, журчала, как ручеек у моих ног. Я описывала Ясона, как никогда не описывали еще ученых мужей, с такой нежностью и восхищением, словно он был моим отцом.

И я ненавидела себя за это. Я вертелась, словно змея. Так что где-то на середине я прервала свой рассказ и сказала:

— На самом деле не так уж он меня и впечатлил.

Полиник вдумчиво кивнул, будто только этой фразы и ждал.

— Более того, он довольно странный. И я не знаю, можно ли ему доверять. Однажды он подставил Одиссея. Рассказать тебе, как?

Полиник снова кивнул. Казалось, он делает это автоматически, словно игрушка в машине. И я начала рассказывать безо всякого желания добиться от Полиника чего-либо. Я говорила все, как есть, со всей неуверенностью, со всеми сомнениями, со всем отвращением. И хотя теперь шансы убедить Полиника казались мне куда более призрачными, я была честна с собой и с ним, так что мы все еще могли быть друзьями.

Полиник взял палочку и принялся водить ей по ручейку, словно по спине змеи, с опаской. Во всех его действиях была испуганная осторожность. Я сказала:

— И как тебе эта история?

— Плохо, — ответил он, погрузив кончик палки в воду. Полиник принялся выуживать из ручейка обтесанный водой камушек. Я видела, что Полиник не хочет смотреть мне в глаза. Я не могла его осудить. Я сама не была уверена, что хочу смотреть себе в глаза.

— Может, ты хочешь освободить Исмену?

Получилось так, словно я персонаж мультфильма, заглядывающий ему в глаза, заискивающий, забавный. А я была собой, отчаявшейся и запутавшейся. Полиник поднял на

меня взгляд, глаза его были серьезны и темны.

— Нет, что ты, Эвридика. Нет, никогда. И ты не делай этого. Все это просто неправильно.

И очень страшно.

Я сказала:

— Ты не думаешь, что так будет лучше, Полиник?

Мы оба встали, словно разговор был закончен без нашего ведома. Я сказала:

— До свиданья, Полиник, мне пора.

Вид у него стал такой виноватый, такой жалостливый, как будто ему было, за что просить у меня прощения. Виделось во взгляде Полиника и еще что-то важное, что я прежде упускала. Я присмотрелась получше.

И тогда я поняла, что за безумство собираюсь совершить.

Гектор был дома, и я этому не обрадовалась. Он сказал:

— Эвридика? Ты в порядке?

Я закрыла глаза, и все исчезло на пару секунд. Это была необходимая мера. Все стало большим и сложным, не осталось легкости, и даже вопрос Гектора показался мне неподъемным.

Я сказала:

— Да, все в порядке. Все будет очень хорошо, если ты сможешь сделать кое-что для меня.

Взгляд его стал серьезным. Гектор вполне мог быть одним из Рыцарей Ясона, если бы не выбрал несколько другую сторону. Такой трогательный, такой человечный, так стремящийся мне помочь. А я должна была быть нечеловечной, чтобы создать не-живого короля. Сплошные "не", сплошные дыры, дефициты, отсутствия.

Я сказала:

— Мне нужно, чтобы ты ушел.

— Что, Эвридика? Что ты задумала? Если ты переживаешь, если тебе больно, и ты в отчаянии...

Казалось, он решил, что я хочу убить себя. Я покачала головой.

— Нет. Просто погуляй, потому что сейчас я буду делать глупые вещи.

Я вспомнила о своих недавних размышлениях и совершенно искренне сказала:

— Они не будут опасными.

Я видела, как в Гекторе борются два начала — то заботливое, рыцарское, и еще одно, ушное и желающее оказаться в безопасном месте. Мне нужно было подкормить второе, которое нравилось мне намного меньше.

Я сказала:

— Я не такая глупышка, как ты думаешь. Я просто хочу петь, танцевать, отдыхать. Знаешь, быть собой, как раньше. Мы с братом много танцевали. Теперь его нет.

Я почувствовала себя Ясоном. Я манипулировала Гектором, и здесь было все — мое очаровательное сумасшествие, в которое он с охотой поверит, потому что вправду чувствует нечто неладное сегодня, мой брат, чья тень всегда стояла над Гектором, моя незащищенность.

Я не должна была так поступать, я не всегда была честной, но Гектора мне было особенно жаль.

— Я понимаю, — сказал он. — Ты в последнее время много о нем думаешь.

Я хотела сказать: просто ты в последнее время это замечаешь. Но я не стала. Мне хотелось, чтобы, если мы прощаемся навсегда, Гектор получил от меня что-то хорошее. Я обняла его и прижалась носом к его плечу.

— Послушай, ты очень славный, даже если сам в это не веришь. Тебе нужно меньше времени проводить с самим собой. Ты чувствуешь себя таким одиноким, но совершенно зря, потому что люди не так уж злы на тебя. Большинство из них никогда не покинет это место, вот в чем правда. Потому что они боятся смерти. Я знаю, ты считаешь себя героем, а они думают, что ты злодей. Но фактически ты занимаешься спасением самоубийц. Это не плохо, хотя тебе не всегда благодарны. Я и сама думала сбежать, но теперь этого не хочу. Тебе просто нужно быть милосерднее к себе, и тогда другие тоже научатся этому.

Все вышло очень запутанно, однако Гектор продолжал обнимать меня и после того, как я закончила говорить. В этих объятиях не было ничего от объятий, которыми наделяют друг друга влюбленные. Гектор просто был благодарен мне, и я поняла, что сказала правильные слова.

— Я пойду работать. Я люблю тебя, Гектор, и ты себя люби.

Он остался стоять в гостиной, когда я пошла в свою комнату. Там я села за стол, открыла тетрадь и стала ждать мыслей, как ждет попутного ветра капитан корабля. Я слышала, как хлопнула дверь, это Гектор выполнил мою просьбу и ушел. Я закрыла глаза и стала качаться на стуле, пока мысли не нахлынули, будто волны. Тогда я принялась писать, и словно бы рука моя действовала сама по себе, подключившись к какому-то источнику вне моего сознания. Это было славное, давно испытанное мной чувство невероятного вдохновения. Оно бралось вовсе не из поступка, который я должна была совершить, а из ощущения того, как все еще могло бы быть с Орфеем и всеми остальными, если бы мы были свободны.

Я, словно Антигона, очень хотела свободы. Я знала девочку по имени Антигона еще в приюте. Она засовывала жвачку в ракушки и слушала тяжелую, старую музыку. У нее всегда был мрачный вид. Но, конечно, я имела в виду, что подобна другой Антигоне, той самой, что хотела похоронить брата.

Сегодня я тоже иду хоронить брата — в каком-то смысле.

Я чувствовала себя героиней античной трагедии, я, словно следуя за нотами мелодии, испытывала отчаяние, ужас и смирение. Намного больше мне нравилось быть героиней комедии, я не любила истории, где все заканчивается очень плохо. И я знала, что, несмотря на это тягостное ощущение необратимости, судьбы, натянутой, как струна, я смогу быть кем-то новым, другим. В конце концов, Эвридика из мифа погибла, но я здесь, жива и ищу своего Орфея. Если Орфей не смог забрать Эвридику из царства мертвых, быть может, у Эвридики получится лучше. Хотя бы потому, что у нее есть фора в десятки тысяч лет, и она уж точно не обернется.

Мне было одновременно очень страшно и угрожающе хорошо, словно теперь я точно знала, что у моей истории есть конец, хороший или плохой, но определенный. Я читала однажды о человеке, который был рад умереть, потому что все войны, экономические кризисы, глобальные потепления больше его не касались. Он покидал этот мир, и в этом была не только грусть, но и облегчение. Это было своего рода безумие, но оно в той ситуации оказалось предпочтительнее здоровья. Мир очень сложен, и ничто в нем не может разделиться на белое и черное без остатка. Так говорил Орфей.

И вот почему он хотел быть машиной. Что ж, я готова была исполнить его мечту.

Мне непременно хотелось дописать заключение так, чтобы закончить тетрадь, но мысли иссякли за две страницы до конца. Я взглянула на небо, и оно показалось мне непривычно ясным, таким, что все звезды было видно. Я сходила на кухню и взяла нож для мяса. Он был наточенным, и Медея все время на него жаловалась. Это было хорошо. Я заткнула нож за широкий кружевной пояс, вернулась и посмотрела на себя в зеркало. Я выглядела очень воинственно.

— Что ж, — сказала я самой себе. — Теперь ты должна быть сильной.

Я вытащила нож и на этот раз заткнула его за пояс позади себя.

— Маленькая разбойница, — сказала я. И почти тут же слышала его шаги. Они были тяжелыми, он подволакивал ноги. Что они сделали с тобой, мой Орфей?

Я прошла к креслу, села, поправив нож. Будет ужасно, если он упадет или уколется меня. К тому времени, как Сто Одиннадцатый открыл дверь, я уже положила тетрадь на колени.

— Эвридика, — сказал он. Одно его плечо было чуть ниже другого, как будто его все время клонило влево. Пораженная нервная система моего брата, не принадлежащие ему руки и ноги, его пустой взгляд.

Я должна была быть сильной, не ради Ясона или человечества, а ради всего, что я любила и помнила о брате.

— Читай, — сказал Сто Одиннадцатый. — Хочу слушать сегодня.

Он сел в кресло передо мной, вытянул ноги так, словно они в секунду отказали. Мне захотелось закрыть глаза. Теперь это зрелище было особенно невыносимым. Так невозможно терпеть последние часы перед наступлением праздника.

Я сказала:

— Сегодня я закончила свои "Письма к Орфею".

— Это хорошо. Завтра начнешь что-нибудь новое.

На самом деле, по большому счету, Сто Одиннадцатому было все равно. Он любил мой ритм, я нанизывала для него слова, как бусины на леску. Он понимал литературу, как музыку. Впрочем, это было хорошо. Я могла усыпить его. Раскрыв тетрадь, я сказала:

— Это будет нечто вроде эпилога.

— Начинай.

В голосе Сто Одиннадцатого не было раздражения, но я заметила слабую нотку нетерпения. Как нетерпение может быть слабым? У человека это безупречно сильное чувство. Я с наслаждением подумала, что чувства тварей притуплены, как у очень больных людей. Твари дефектны относительно нас по самой своей природе. Эта мысль отчего-то успокоила меня, и я начала читать:

— Перед тем, как обратиться к тебе сегодня, Орфей, я хотела рассказать тебе, как Гектор, храбрейший вождь Трои, обрел покой на руках своего отца, как Одиссей нашел свою Итаку и свою Пенелопу, столь же прекрасную, какой он оставил ее, как Полиник вступил в смертельную схватку со своим братом Этеоклом, как была спасена Персеем от верной смерти Андромеда, как Ио добралась до Египта и получила свое заслуженное облегчение, как Ясон спал под обломками "Арго" в ожидании последнего часа, как Тесей победил чудовищного минотавра, но забыл сменить паруса на победоносном своем корабле. Я хотела бы рассказать тебе все это, но героев Греции больше нет. Есть другие люди, другие герои, носящие те же имена, схожие и не схожие. Есть Гектор, который понимает о благородстве больше, чем люди, которые никогда не ошибались, смущенный, милый Гектор, заботившийся обо мне. Есть Одиссей, чье страшное горе поглотило его, у него нет ни Итаки, ни Пенелопы, но есть воля к тому, чтобы продолжать жить без них. Есть чудесный Полиник, наивный и светлый мальчик, которому так грустно, но который умеет сохранить среди всех своих бед здравый смысл, есть Андромеда, усталая, но всегда готовая помочь, серьезная, сильная женщина, без которой не было бы этой истории. Есть Ио, веселая, смелая героиня, присягнувшая на верность Ясону, которого больше интересуешь ты, чем золотое руно. Есть, в конце концов, твой друг Тесей, который знает цену жизни и никогда не позабудет сменить паруса. Спасибо им за то, что они существуют, потому что это значит, что любую историю можно переиграть, что любая история может стать неузнаваемой и новой.

Сто Одиннадцатый слушал по-особенному внимательно. Кажется, у меня получилось впечатлить его. Я сделала крохотную паузу, чтобы перевести дух, и в нее вклинилась музыка.

Совершенно прекрасная музыка, равной ей не было. Виолончель уверенно солировала в кажущемся хаосе инструментов, придавала ему смысл и звучала, словно человеческий голос, столь тоскливый и сильный, что на глаза наворачивались слезы. Казалось, музыка была повсюду, она зазвучала так громко, словно началась с кульминации.

Тесей. Он все же помог мне, он знал, что ночью мне нужна будет его музыка, и он на самом деле не бросил меня, не отказал.

Сто Одиннадцатый приоткрыл рот, его поразило сочетание музыки и слов.

— Как...

У него не было верного выражения для этого чувства. Даже у меня не было. Музыка действительно настолько совпала с мелодией и смыслами произнесенного мной, что мне не верилось в это. Словно в спектакле, где режиссер долго сонастраивал все детали. Но мы с Тесеем едва знали о том, что делаем, и все же делали это друг с другом. Музыка была тончайшей нитью, протянувшейся от Тесея ко мне, и эта нить, я знала, поможет мне не утонуть. Какой эта музыка была грустной — в ней осталась вся тоска, что испытывал Тесей. Какой глубокой она была, я и не подозревала, что Тесей способен осознать нечто подобное. И в то же время, наряду с пронзительными нотами, которые раз за разом выхватывала из пустоты виолончель, было в музыке и нечто о жизни, которая была прекрасна, несмотря ни на что, и продолжалась. Я на секунду закрыла глаза, утонув в трагедии, которую принес с собой Тесей. Я была уверена, что музыка эта разносится далеко-далеко, и всякий, кто слышит ее, человек или тварь, благодарен за то, что она есть. Это было прекрасное исполнение невероятной вещи. Прежде я ничего подобного от Тесея не слышала. Должно быть, он хранил эту симфонию для особенного случая.

Я снова заговорила, словно была одним из инструментов, для которого настало время вступить в общее течение звуков.

— Я все это время рассказывала тебе, как прекрасен мир, сколь много в нем хорошего, и как ждет тебя все, что ты любил когда-то. Но сегодня, наконец, пришло время поговорить о другом. Орфей, я повзрослела, и я многое поняла, я хочу донести до тебя эти слова, я надеюсь, что ты слышишь их. Я так много говорила о том, чем прекрасен мир, но в последние дни я столкнулась с таким количеством боли и отчаяния. Меня окружали люди, которым не на что надеяться, люди, которые потеряли себя, люди, которые потеряли тебя, люди, которые потеряли других людей. И на секунду я подумала, что этот мир полон отчаяния, что все в нем так тоскливо и страшно, и от этого никуда не убежать. Люди умирают, еще их можно поглотить, они могут оставить тебя, и тогда все рассветы на земле покажутся пустыми. Вот что я думала об этом. И, конечно, я не планировала писать тебе все это, Орфей. Ты и так не в самой прекрасной ситуации, и тебе не нужно знать всего этого, когда ты очнешься. Но вдруг я села за стол, и меня поразило, как же здорово, что все мы встречаемся и расстаемся в этом сложном мире. Как здорово, что у нас есть шанс прожить все, что нам предначертано, даже если это очень мало, даже если это очень тяжело. У мира огромное преимущество перед небытием, всем мертвым, безусловно, повезло больше, чем тем, кто так никогда и не появился на свет. Само переживание, сам вкус жизни лучше, чем ничто, никогда и нигде. И это чудесное знание, потому что оно освобождает от всего. Пусть есть множество историй, которые заканчиваются трагически, пусть не все из нас могут видеть прекрасные рассветы, пусть некоторых не волнуют моря. Мы живем и жили, дышим и дышали, и однажды мы все умрем. Потому что мы — люди. И у нас был этот неповторимый опыт существования на этой Земле. Его никто не отнимет ни у тебя, ни у меня. Я знаю и

люблю каждую твою черточку, ты сложился из звездной пыли, из лотереи ДНК, из прочитанных книг, из биохимического баланса, из нарратива истории, из теории вероятности. И ты был. И я люблю тебя, и спасибо тебе за все.

Я встала и подошла к нему ближе. Сто Одиннадцатый сидел в кресле неподвижно. Кажется, сочетание моего голоса и музыки, слова и мелодия, влились в него и не оставили ему никакого пространства для маневра.

Такие могущественные существа покоряются нашей, человеческой слабости к красоте. Сто Одиннадцатый был моим. Я знала, что весь он неподвижен, не только тело моего Орфея. Музыка все звучала и звучала, и я думала, что Тесей будет играть без усталости, пока не свалится без сил. Однажды я такое видела. Он был так вдохновлен, что играл шесть часов подряд, отказываясь сделать хоть крошечный перерыв. А потом просто упал на пол и сказал: — Больше не могу.

И не мог.

Я отложила тетрадь, теперь мне не нужно было туда смотреть. "Письма к Орфею" были закончены. Я продолжила:

— Мне жаль вас, Сто Одиннадцатый. И в то же время вам, безусловно, стоило бы пожалеть нас. Мы очень разные. Теперь я знаю, чем мы отличаемся на самом деле. В отличии от вас, мы вышли из небытия. Полностью. Мы можем сказать о том, что мы — есть или, по крайней мере, были. И я бы абсолютно точно не хотела бы быть, как ты, не знать ни отчаяния, ни боли, и жить вечно, не способной ни к какому созиданию. Я жалею тебя.

Я подошла к Орфею совсем близко и обняла его. Я чувствовала отростки, исходящие от него, пульсирующие, пещеристые, мои пальцы то и дело попадали в странные, холодные, склизкие выемки.

— Будь это другая история, я непременно научила бы тебя тому, что знаю. И, может быть, это могло бы быть полезно для нас обоих. Но сегодня все так, как есть, а значит — никак иначе.

Хорошая фраза, подумала я, но странная. Быть может я уже никогда не запишу ее. Я достала нож и посмотрела на своего брата.

Это забавно, в фильмах, если злодей много говорит, он может попасть в беду. А я — злодейка? Если так, то я нарушала основополагающие законы композиции. Мне нужно было говорить, и я боялась остановиться. Слова и музыка слились, спаялись, и их было не оторвать друг от друга.

— Не бойся ничего, Орфей, — сказала я. Какая я была врушка! Это же я боялась, и как я боялась — словами не передать. Лезвие ножа блеснуло, вторя особенно высокой ноте, которую взяла виолончель.

Я знала, что все закончится сейчас. Я на самом деле знала. Было страшно, но и облегчение тоже будет — потом. Мне казалось, что время замерло, и я могу тянуть эту секунду бесконечно долго, как розовую жвачку, как нить из юбки, как полосу рельсов на дороге. Я не хотела.

Как же я не хотела.

Во мне не было ни тени влечения к тому, что должно произойти. Была ответственность за Орфея. Была благодарность за все, что он сделал для меня. Он был самым лучшим братом на свете. Он подарил мне этот мир во всей его сложности, все объяснил и рассказал, и когда-то я верила ему, как себе. Однажды Орфей сказал, что и он доверяет мне безоговорочно. Это испугало меня, потому что означало ответственность. Но теперь я знала, как это — нести ее.

Я не была готова. Я просто знала, как это — быть готовой. Я встала на цыпочки, и мне показалось, что это высоко-высоко. Глаза Орфея с радужками чистыми и светлыми, как вода, теперь стали еще страшнее. В них не было ни жизни, ни страха смерти. А что было — этого сказать нельзя, у меня совсем не осталось слов, и я не была уверена, что знала их когда-то.

Я поцеловала Орфея в губы. Нет, не так, я прижалась к нему всем телом и целовала его очень-очень долго, почти как женщина целовала бы мужчину, и это было правильно, пусть и только в тот момент.

Эвридика ищет Орфея. Я нашла тебя, Орфей.

Я занесла нож и вспомнила все, чему учил меня Одиссей. Удар показался мне таким правильным, но сопротивление плоти было сильнее, чем сопротивление ткани.

И все же я сделала это, нож вошел в его шею, и я увидела рубиновую кровь, я вытащила нож, и ее стало очень-очень много. Я смотрела в рану, как смотрят в глаза любимому человеку — со страхом, с надеждой и с принятием. Я сделала для Орфея все, что могла, и рана была похожа на раскрытую, маленькую пасть чудовища. Оно было красным и жадным, оно, казалось, сокращалось. Живое тело приняло мой удар. Меня бросило сначала в жар, потом в холод, и я поняла, что плачу, но это были другие слезы, чем всегда. Тошнота души.

Я так надеялась, что спасла его. В ту секунду я знала, что умру, если это окажется не так. Знание освобождало от страдания.

— Орфей, — прошептала я. — Мой Орфей.

Он вдруг дернулся, и я сразу поняла, что это человеческое движение. Музыка в очередной раз достигла своего крещендо, и когда я посмотрела на свои руки, на них оказалось столько крови. Какая чудесная музыка для такого страшного момента. Тесей играл ее и догадывался, что происходит. В этом была определенного сорта эротичность.

Я снова посмотрела на рану, потому что не могла смотреть в глаза Орфея. Кем нужно быть, чтобы смотреть в глаза убитому тобой брату? Как я надеялась, что раны больше не будет, что она исчезла таинственным образом, и все повернулось вспять. Но рана была и из раны все еще хлестала кровь.

А потом посыпались жемчужинки.

Но он не упал. Он встал и теперь стоял на месте, пошатываясь, как человек, испытывающий сильную боль, зато, определенно, живой и чувствующий. Затем я увидела, что он дрожит, и что лицо его искажено вполне человеческим осознанием того, что ему больно. Мне стало жалко Орфея, и в то же время я была рада за него.

И он, наконец, открыл глаза. На этот раз я точно поняла, что история Орфея и Эвридики закончилась.

Закончилась навсегда и не понарошку, исчезла, чтобы уступить место совсем другой истории, истории о не-живом короле. Надо же, как забавно. Орфей был здесь, а история — закончилась.

Секундой позже меня отшвырнуло к стене, я больно ударилась спиной, но голова моя, к счастью, была в порядке. Следом отправлялись и другие вещи. Казалось, будто бы они летают по комнате сами собой, все эти чашечки и шкатулки, тарелки и симпатичные фигурки, стулья, в конце концов, и столы. Я была в хаосе предметов, каждый из которых потерял вверенную ему точку в пространстве.

Орфей же был почти неподвижен. Вернее, неподвижны были его руки, только пальцы чуть подрагивали. Когда в меня полетел обитый бархатом стул, оказалось, что я могу только закрыть голову руками. Я подумала, что сейчас-то кончится и история Эвридики, но стул остановился прямо перед моим носом, замер, словно бы не только в пространстве, но и во времени.

И все вещи замерли там, где были, словно бы воздух вдруг заledenел, и они оказались заточены в нем, как в янтаре.

— Эвридика, — сказал он. Голос его был хриплым, но, без сомнения, принадлежал Орфею. Рука его несмело поднялась, и он прижал пальцы к ране, сочащейся жемчугом. Вид его стал беззащитным, нежным, мальчишеским.

Он не собирался умирать, я не убила его. Но моему Орфею было больно, а значит я должна была справиться со своим страхом перед ним. Было красиво. Вазочки над моей головой, готовые рухнуть и разбиться, но замершие в густом воздухе, переливались в лучах лунного света. Я огибала самые разные вещи, и ложки, и книжки, и раскрытые шкатулки, из которых лилась музыка. Застывший кадр, в котором двигались только мы двое. Он — легонько, а я — осторожно, со священным страхом. Жемчужинки, лежавшие у меня под ногами, почернели, словно их облизала ночь.

Я встала, и это оказалось больно, но еще более странно было двигаться дальше. Он был везде.

Он, это кто такой?

Не Сто Одиннадцатый, но и не Орфей. Тела обоих все еще были совмещены, теперь, однако, я ощущала, как скользкие щупальца, испещренные странными отверстиями дрожат. И это было очень по-человечески. Я засмеялась, и этот звук показался мне просто невероятно громким.

Как забавно — такая человеческая, испуганная дрожь конечностей существа, настолько далекого от человека, насколько только возможно. Сначала я пролезала под щупальцами, переступала их, и это было так похоже на какую-то детскую игру вроде твистера, только в полноценных трех измерениях. Я то и дело нарушала правила, касаясь распростертых вокруг

щупалец, казалось, они были везде, и мне приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы сквозь них пробираться.

Я чувствовала, что в отверстиях на них имеются длинные, острые хоботки. Жала. Я чувствовала, что пещеристые, мягкие ткани щупалец выделяют какую-то странную слизь. Раньше, когда Сто Одиннадцатый гладил меня, я старалась не думать об этом, не ощущать, чтобы меня не стошнило от отвращения и ужаса. Теперь это все был Орфей.

Да, вот оно что, это тоже был Орфей, а не только Сто Одиннадцатый, и я узнавала тайны этого странного тела.

Он так дрожал, что я бросила попытки пробраться к той части моей брата, которая была им с самого начала. Я обняла невидимые щупальца, прижалась к ним с нежностью и силой.

— Я люблю тебя, — зашептала я. — И я должна была вытащить тебя, Орфей, родной мой.

Я не смотрела на него. Сейчас это было не нужно, Орфей был во всем пространстве, и щупальца Сто Одиннадцатого функционировали у него гораздо лучше, чем руки Орфея у Сто Одиннадцатого. Я поцеловала одно из толстых щупалец, ощутив на губах кисловатый вкус слизи и острые прикосновения жал, спрятанных в ровных, как соты в улье, дырочках. Затем щупальце обвило меня с той же нежностью и силой, которую я вложила в него.

— Прости меня, Орфей. Прости, — прошептала я.

Щупальце гладило меня по голове, оно было прохладным, но охотно нагревалось от тепла моей кожи.

На моих глаза творилось чудо. Орфей слился с ним, и Орфей победил. Мы нашли ответ, и он был таким легким. Сколько людей мы могли пробудить по всему миру? Людей, сцепленных с тварями и обладающих их телами. В комнате, где предметы замерли в воздухе, как в дурацком фильме про остановку времени, я вдруг поняла, что время на самом-то деле пошло.

История началась, быть может, это была последняя история, но пустого времени больше не будет. Как бы там ни было, мы все умрем или победим — тоже все. Больше никакого ожидания, никаких томительных, липких тысячелетий.

Я коснулась губами тонкого кончика щупальца, словно целовала пальцы Орфея.

— Тебе больно?

Я вскинула голову и увидела, что Орфей покачал головой. И хотя рука его все еще была прижата к шее, гримаса боли больше не искажала его прекрасное лицо.

— Ты понимаешь, что все это значит?

Он медленно кивнул.

Это было хорошо, что он понимал, потому что я не понимала. Я сделала что-то великое, я запустила колесо истории. Теперь, что бы ни случилось, это будет событием. Но большего я и представить не могла.

На большее я и не надеялась.

И все это, в конце концов, интересовало меня меньше, чем должно было. Потому что я вернула своего брата.

— Эвридика, — сказал Орфей, и я расплакалась, потому что это был по-настоящему его голос. — Я чувствую себя очень странно.

Я закивала.

— Да, да, ведь ты и Сто Одиннадцатый все еще соединены. Но мы тебе поможем. Наверное, мы тебе поможем.

Точно я сказать не могла. Теперь я вступала в область абсолютной темноты. Я впервые за долгое время не знала, как проведу завтрашний день, и что будет через неделю.

— Я так безумно люблю тебя.

Я пожертвовала всем, потому что люблю тебя. Возможно, я пожертвовала человечеством. Щупальце скользнуло по моим щекам, стирая слезы, но мне не стало противно. Наоборот, я чувствовала себя любимой и защищенной.

— Я обрекла тебя на эту странную судьбу, — прошептала я. — И мне так жаль.

— Теперь у меня, по крайней мере, есть судьба.

Это был не совсем мой Орфей. Нечто в нем изменилось, хотя сложно было сказать (распознать, классифицировать), что именно. И все же это существо было к моему брату ближе всего.

Не-живой король до определенной степени все-таки был Орфеем.

Я почувствовала, что пола под ногами больше нет, взглянула на носки своих туфель, обращенные вниз. Орфей осторожно приподнял меня и плавно перенес, поставил на место перед ним. Теперь я, наконец, смотрела ему в глаза.

— Не бойся, — сказал он. — Я помню многое.

— Это лучше, чем ничего.

— Может быть, это даже лучше, чем все.

Он снова обнял меня, на этот раз — по-человечески.

— Я не знала, как будет лучше для всех.

— Этого никто знать не может.

Он был холодным. И в то же время его прикосновения, и тон его голоса, и даже запах, от него исходящий, были мне родными.

Он не был жив, но и мертв не был. Он не был вещью, но не был и существом, по крайней мере, в полном смысле обоих слов.

Я сказала:

— У тебя есть много дел, Орфей. И ты столько пропустил. Сейчас я все тебе расскажу. Хорошо?

Но вместо того, чтобы говорить, я снова его обняла. Он отпустил вещи, которые держал: книги, шкатулки, стулья, вазы, и все то, что составляло мою комнату. Среди этих вещей была, без сомнения, и моя тетрадь с письмами к нему.

Теперь они не были нужны. Орфей был рядом, и я помнила каждое слово для него.

Раздался звон стекла и треск дерева, и все это было таким громким, что я уткнулась носом в его плечо и зажала уши.

Но на самом-то деле страшно больше не было.

Больше книг на сайте - Knigolub.net